

ПЕТР ПЕТРОВ

БЕЛЫЕ И

ЧЕРНЫЕ

Женские лики – символы веков

Петр Петров

Белые и черные

«Public Domain»

1860-1870

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Петров П. Н.

Белые и черные / П. Н. Петров — «Public Domain»,
1860-1870 — (Женские лики – символы веков)

ISBN 978-5-486-03934-8

Петр Николаевич Петров (1827–1891) – русский историк искусств, писатель, искусствовед, генеалог, библиограф, автор исторических романов и повестей; действительный член Императорского археологического общества, титулярный советник. Он занимался разбором исторических актов, а также различных материалов по русской истории и археологии. Сотрудничал в «Русском энциклопедическом словаре», куда написал около 300 статей по искусству и русской истории, а также был одним из редакторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В настоящее время Петров наиболее известен двухтомным изданием «История родов русского дворянства» (1856). Определенную ценность имеют также его книги «Специальные заметки по генеалогии и геральдике» (1871), «История С.-Петербурга за 1703–1782 гг.» (1885) и особенно исследования по истории петровского времени: «Очерк жизни Петра Великого» (1872). Кроме того, из-под его пера вышел целый ряд исторических произведений, и в частности публикуемый в данном томе роман «Белые и черные», где рассказывается о недолгом царствовании Екатерины I – жены Петра I, а также о дворцовых интригах в борьбе за власть и влияние на императрицу.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03934-8

© Петров П. Н., 1860-1870
© Public Domain, 1860-1870

Содержание

Часть первая	7
Вместо пролога. Не так делается, как хочется!	7
I. Неожиданности	10
II. Случайный человек	19
III. Новое знакомство	28
IV. Шпионы	37
V. На следу	43
Конец ознакомительного фрагмента.	50

П. Н. Петров
Белые и черные

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

* * *

Часть первая

Вместо пролога. Не так делается, как хочется!

Страшная ночь на 28 января 1725 года, казалось, не имеет конца. Вьюга – зги Божьей не видно. Тускло мерцают фонари, обычно очень яркие, перед парадным входом в Зимний дворец, с Невы. Какие-то две тени, черные, длинные, протянулись вдоль Невы, подвигаясь к дворцу с не видного сквозь вьюгу Васильевского острова; тени эти, с приближением к Зимней канавке, оказались двумя колоннами войска, шедшими тихо, беззвучно, не сближаясь и не отставая одна от другой.

Вот голова первой колонны – так же тихо, как двигалась по льду, – всходит на Немецкую улицу и доходит до служебных ворот Зимнего дворца, которые как бы сами собою тихо растворяются, пропускают строй и опять закрываются. В то же время оставшаяся сзади первой вторая колонна поднимается с Невы и располагается снаружи, вокруг дворцового здания, замыкая собою все выходы.

Все это происходит без звука. Благодаря завываниям ветра и метели даже более ощутительный шорох был бы не слышен. Страшная тишина, можно было бы сказать – предвестница бури. Но вьюга – та же буря – не перестает крутить снежную пыль, лишая возможности что-либо усмотреть и в двух шагах. Снежная кутерьма в воздухе, кутерьма и в стенах дворца, тоже беззвучная, но на всех наводящая страх. Народ везде, но словно явился он сюда разыгрывать тени... Молчание грозное, зловещее, под впечатлением которого все друг от друга отступают и боятся молвить слово.

Но, боясь издавать звук, люди-тени двигаются беззвучно, в полумраке, с одного конца дворца на другой, от Невы до Немецкой улицы. Близ нее, в третьей комнате от угла, тихо отходит из этого мира повелитель страны, называемой Русью, – Петр I.

Он слышит и видит как будто все, что происходит вокруг, но не может сделать никакого движения. Тело давно уже охолодело, и ресницы смежаются навеки...

Вот он, кажется, совсем уснул. Грудь больше не поднимается, не опускается.

– Все кончено! – произнес дежуривший безвыходно третьи сутки архиатер Блументрост.

Из чьей-то груди раздался крик надорванной боли – и по всему дворцу отдался одним общим взрывом воя: «Не стало!»

Канторка, где скончался государь, опустела в несколько мгновений.

Самая большая куча самых влиятельных звездноносцев направилась влево – в пустую залу, где происходили обыкновенно советы.

В эту залу разом вступило человек двадцать, и, войдя, все расселись, а последние из вошедших притворили за собою дверь из коридора.

– Надо теперь же выбрать правительство, господа, которое бы решило, для блага общего, кто должен воспринять корону! – спешно начал говорить князь Дмитрий Голицын. – Высказывайтесь теперь же, если имеете в виду лицо, права которого бесспорны и которое бы повело отечество вперед, не умаляя славы его и значения... Говорите первый вы, канцлер, – обратился оратор к графу Гавриле Ивановичу Головкину.

– Я думаю, господа, что поскольку завещания не осталось, как я знаю, то на престол вступить должна... должна, я говорю...

Но он ничего больше не сказал, потому что при словах «должна... должна» двери вдруг распахнулись и сквозь открытые проходы ринулись в залу преображенцы, с ружьями на руку, предводимые князем Меншиковым и генералом Бутурлиным.

Войдя в залу, гренадеры пешим строем остановились подле сидевших, так что перед каждым очутилось по паре усачей, вооруженных с ног до головы и с отпущенным штыком в нескольких линиях от груди.

Предводители стояли в середине. Меншиков крикнул:

– Господа, не задерживайте других, ступайте присягать государыне императрице, матушке вашей! Нет Петра Первого. Осталась нами править Екатерина Алексеевна. Да здравствует Екатерина Первая, Божиею милостью императрица и самодержица всероссийская!.. Ур-ра-а!

– Ур-ра-а! – грянули гренадеры.

С улицы им ответили тем же возгласом товарищи.

Сидящие и стиснутые гренADERами молчали; молчал и пресеченный на полуслове Головкин.

– Гаврило Иванович? – обратился к нему Меншиков. – Не угодно ли тебе со своими советниками двинуться отсюда? Если устал – помогут гренадеры.

– Мы полагали, что успеем присягнуть, когда наречена будет царствующая особа, – робко заговорил было потерявшийся Головкин.

– Вот что значит растеряться-то, – с оживлением ответил светлейший князь. – Уже церковь по воле покойного императора не только нарекла, но и помазала на царство государыню Екатерину Алексеевну пятого мая прошедшего года. Ведь мы с тобою вместе подавали корону государю, когда он возлагал ее на супругу? И, смотрите, все человек забыл, все вылетело из головы! Да я, брат, друга не оставляю в беде... Ты и государыни этак не найдешь, пойдем-ко, вот так, давай руку, марш! А вы, гренадеры, возьмите под ручки господ, что сидят не вовремя, когда идти надо... Иди же, ма-арш!

И сам поволок совершенно уничтоженного Головкина. За этою парюю потянулись длинной цепью, гусем, собравшиеся, но не столковавшиеся советники. За каждым следовала пара гренADERов, с багинетами¹ у ружей на руку, словно торжественный конвой доподлинных заговорщиков.

Так кортеж прошел по внутреннему коридору государыниной половины до малой внутренней приемной, где, опершись на стенку устроенного наскоро царского места, на верхней ступени его стояла царственная вдова Петра I. С правой стороны ее находился Синод в облачении, с двумя вице-президентами впереди; с левой стоял Сенат. В ряды сенаторов встала и большая часть пришедших, кроме двух генералов, оставшихся с командою в коридоре, должно быть ожидать очереди вступить в залу в свое время.

Кабинет-секретарь Макаров подошел и подал государыне исписанный развернутый лист.

Ее величество взяла его и передала вице-президенту Синода архиепископу Феодосию, который, став перед аналоем с крестом и Евангелием, громко прочел клятвенное обещание для принесения присяги: на верность ее величеству государыне Екатерине I Алексеевне, императрице всероссийской.

Все подняли руки, как принято, и по прочтении клятвенного обещания первым поцеловал крест и Евангелие, подписав лист, сам читавший; за ним и все стали подписывать. Головкин один из первых подмахнул свое имя и, отвесив низкий поклон государыне, направился к выходу.

В дверях стоял генерал Иван Иванович Бутурлин. При выходе графа он вежливо ответил на его поклон, прибавив вполголоса:

– Сами сознались теперь, что так будет всего лучше...

– Да я, друг мой, понимаешь, для того и затянуть хотел, чтобы вы подошли... Иначе что же сделать с безумцами?! Не думайте, что я совсем голову потерял, – я...

¹ Багинет – штык.

Он не договорил, кто он, увидев подступавшего с другой стороны князя Дмитрия Михайловича Голицына об руку с князем Василием Владимировичем Долгоруковым.

Эта пара прошла в молчании, видимо обескураженная не столько ловким маневром Бутурлина и Меншикова, сколько бестактностью и разъединением назвавшихся им в товарищи: по решимости противодействовать общим врагам.

I. Неожиданности

Неприглядны казематы ревельской² крепости, а тот, в который попал, вероятно по ошибке, наш Балакирев, едва ли не превосходил все прочие сыростью, затхлостью и бесприютностью. Подобие нагревательного снаряда торчало, по правде сказать, на надлежащем месте, в углу, но так называемая печь была, в сущности, грудой кирпичей, благодаря многочисленным трещинам. Из-за них невозможно было не рискуя устроить пожар развести огонь; не говоря уже о том, что свободно разгуливавший в трещинах ветер только вносил холод в нетопленое помещение. Сверх того, он при малейшем морском ветре отдавался в каземате воем, наводившим ужас.

С вечера той ночи, в которую мы находим здесь Балакирева, завывания ветра в открытой трубе не давали узнику ни минуты покоя. Перекаты бешеных звуков разгулявшейся не в шутку стихии отражались в узком каземате, по углам особенно, с удвоенною силою.

Ваня Балакирев был крепкий человек, способный не поддаваться суеверию, не веривший в существование нечистой силы, но и он, пробужденный необычайной музыкой ветра, не вдруг сообразил, в темноте, в чем дело. Пригревшись кое-как на убогом ложе своем, Ваня не хотел вставать и не смел пошевелиться. Пытался он заснуть опять, но не мог, как не мог же, дремля, прийти в бодрственное состояние, стряхнув сон окончательно.

Но к чему узнику просыпаться?

Томление духа о неизвестности судьбы милых ему особ усиливалось, усугубив боль сердечных ран, когда он представлял их горе о нем, о Ване. Как приняли они его несчастье? Кто и чем утешит жену и бабушку? Как дойдет или дошла до них горькая весть о нем? И о чем ему давать весть, когда он сам томится неизвестностью, долго ли будут его держать здесь... А дальше что?

Нерадостное раздумье все большее трогало узника, пока показался свет начавшегося дня. Свет сам по себе утешение узнику. Мысли его мало-помалу, теряя горечь, перешли в дремоту, обратившуюся в сон.

Видит он себя на улице немецкого будто города, на наши города не похожего. Причудливые узоры сна изобразили в праздничном, ярком свете здания не то Риги, не то Ревеля. И скорее даже Ревеля, того самого, где теперь томится он. Здесь припомнилось молодцу, как свихнулся он, в день самый радостный для христианина, русского православного. Видится Ване праздник большой, тоже весной пахнет и подует с моря свежий ветерок, поют птички, и пенье их трогает за сердце своим щебетаньем, веселым, бойким, вызывающим на радость и откровенность.

По городу разгуливают толпы разодетых горожан и горожанок. Особенно горожанки одеты нарядно... Загляденье. Пестроты много, но каждой она к лицу. Смотрит Ваня на проходящих горожанок, любителю миловидностью их, а они шушукают, чего доброго, про него... Вот одна молодая, проходя, ударила его по плечу. Остановилась и за руку взяла.

Ваня почувствовал необычайную робость и смущение; руки не отнимает и не может двинуться с места. А горожанка не отстает, тормозит Ваню и вдруг знакомым голосом Даши с нежным упреком говорит ему: «Как же ты забыл меня до того, что не узнаешь?.. Словно я стала совсем чужая тебе».

Вглядывается Ваня и невольно трепещет. Это Даша, точно, и в глазах ее нежность первого времени их любви.

Все прошлое пришло на память Вани, а он, словно от страшного сна, отвернулся от него, впиваясь глазами в Дашу.

² Ревель – старинное название г. Таллина.

А она-то, она воплощенная нежность, так и льнет к нему, так и нашептывает нежные уверения в любви.

Тянет его к пляшущим, стоящим стройными рядами, в парах. Пошли они, а пары и ряды их вырастают в необозримый хоровод, пестреющий всеми цветами радуги. Раздаются звуки, переполняющие сердце любовью и забвением.

Пары скользят, и между ними Ваня с Дашею. И они, как другие, несутся в бешеной пляске так быстро, что захватывает дыхание. Ряды пар перемешиваются, переплетаются, и вдруг из чужого, сбившегося ряда какая-то плясунья выхватывает его, Ваню.

– Не уступлю, – кричит, – Ваня мой!

И он увлечен вдаль, в ряды, которые перед его похитительницею расступаются... все дальше и дальше. Пара их одна несется в какой-то туман, но без пыли и сырости. Голос Даши слышен глухо где-то вдали – где же ты, Ваня?.. Где ты?

– Я... здесь...

– Где – здесь?.. Совсем пропал... – почти шепотом слышатся ему последние слова.

Ваня хочет лететь на зов Даши, но непреодолимая сила, в образе плясуньи, снова увлекает его.

– Чего стал, полно дурить... будь умнее, – увещевает плясунья.

В голосе ее узнает Ваня говор Дуни никак? И сердце Вани начинает биться сильнее, и представляется ему прощание с Дашею, как было в утро его ареста. Жгучая боль захватывает дыхание. Он хочет кричать – не может.

К счастью, кто-то начинает тормозить и будить его. Вот он очнулся, чувствуя головокружение.

– Вставай, пойдем! – раздается повелительный голос ефрейтора.

– Куда? – робко спрашивает Ваня.

– Комендант требует.

Сильно забилося сердце у Вани, но не от страха. Что-то новое проснулось у узника, привыкшего к своему одиночеству.

Вышли из каземата. В длинном коридоре пахло морозом.

Вот, следуя за ефрейтором, Ваня на крепостном дворе. С неба падает холодная изморозь.

Вот и крылечко комендантского дома. Ваня за ефрейтором пошел в приемную. Много офицеров, и все в черном.

Подлетел комендантский адъютант, повел за перегородку, к узлу с тем платьем, в котором привезли сюда Балакирева.

С узника снимают арестантский тулуп и прочее и велят одеться в его платье.

Ваня опять в своем красном камер-лакейском кафтане, при шпаге, в ботфортах своих, епанче, и треуголку дают ему в руки.

Адъютант обошел вокруг переодетого узника, пообтянул складки кафтана; сказал, подведя к зеркалу, чтобы Ваня причесался поданным гребнем; еще раз осмотрев, все ли исправно, повел к коменданту.

Комендант встал, тоже оглянул приведенного пытливым взглядом инспектора перед смотром и ласково вымолвил ободряющим тоном:

– Можешь ехать, с Богом! Будешь в Санкт-Петербурге, вспомни, что здесь тебя не обижали ничем, а держали – как приказано.

– Куда же меня, ваше высочордие, требуют теперь – в Питер? – спросил оживляясь Ваня коменданта, двинувшегося с бывшим узником в приемную.

– Мне дан приказ прислать тебя обратно, до дому ее императорского величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, как можно поспешнее. Вот повезет тебя сей офицер, – указал комендант на стоявшего у порога офицера, с сумкою и в епанче.

– Желаем много лет здравствовать! – поклонясь коменданту, молвил Балакирев, идя за офицером к открытой двери.

У крылечка стояла запряженная кибитка.

Офицер и Балакирев сели в нее и поехали по направлению петербургской дороги.

Офицер совсем по-братски стал обращаться с Ванею.

– Значит, государь прощает меня, коли дал приказ доставить меня обратно, ко двору ее величества? – спросил своего спутника Балакирев, рассказав ему без стеснения, что он был осужден за вину, им хорошо сознаваемую. Но какая вина, Ваня не открыл, понимая, что больше говорить не следует.

– Может быть, – был ответ офицера. – Только приказ дан самою государынею. Ее величество ныне уже царствовать сама изволит, со дня кончины его величества Петра Первого.

У Вани брызнули слезы. Всхлипывая, привстал он, перекрестился и произнес: «Да помянет Господь Бог во царствии Своем душу...»

Офицер посмотрел на Балакирева с удивлением и подумал, что бывший арестант себе на уме... Чего доброго, еще на него донесет! Лучше с хитрецом в молчанку играть. После взгляда удивления офицер во всю дорогу уже не проронил ни слова с возвращаемым узником.

Да и Балакиреву, узнавшему о кончине Петра I, было не до разговоров. Ему представилось много нешуточных мыслей, которые заняли его.

Ехали быстро; выходили из кибитки только два раза до Нарвы, для того чтобы подкрепить силы чем Бог послал. На третий день после полудня Балакирев был привезен в Петербург, в дом Андрея Ивановича Ушакова.

Офицер вошел в переднюю и подал книгу с пакетом. Возвращая книгу офицеру, солдат повел Балакирева к генералу.

Когда Ваня вошел в рабочую комнату Андрея Ивановича, делец сидел за столом и что-то списывал в большую книгу, погрузившись в это занятие. Ваня стал у дверей, и вдруг у него защемило сердце при воспоминании о событиях, завершившихся выводом на Троицкую площадь.

Бывший тогда главным следователем, Ушаков нисколько, впрочем, не напоминал писавшего в книге. Напротив, с каждым взмахом пера лицо Андрея Ивановича становилось как бы добрее и сочувственнее чужому горю.

Вошедшего он словно и не видел, но это казалось только со стороны.

В действительности Андрей Иванович Ушаков не нуждался в том, чтобы поднимать глаза и обращать их на предмет, приучившись глядеть искоса, из-под редких ресниц. И теперь он, погруженный будто бы в свое занятие, хорошо подмечал угрюмость, все сильнее и сильнее скоплявшуюся в нависших бровях Балакирева, придавая ему не только уныние, но дикую мрачность.

Ушаков решил, что длить такое положение больше не нужно, и, внезапно встав, подошел к привезенному и ни с того ни с сего обнял Балакирева как родной. Объятием, впрочем, не закончилась нежность прославленного сыщика: он два раза крепко чмокнул в лоб удивленного Ваню, приговаривая:

– Здравствуй же, здравствуй, крестник!

Тот окончательно растерялся от неожиданной любезности. Заметив, что, чего доброго, пересолишь уже нежности, Андрей Иванович спохватился и задал Ване вопрос:

– Ты ведь, плутяга, и не догадываешься, кому больше всех обязан спасеньем? Ась?! Молчишь... небось не знаешь... Простяк ты простяк! И по моему обращенью к себе не возьмешь в толк, что... мне, а никому другому...

И новый поцелуй в голову был, так сказать, вразумлением Вани насчет признанья забот о нем откровенного благодетеля.

– Сам знаешь, – начал теперь Андрей Иванович своим обычным резонным тоном, – что я и рад бы для тебя тогда больше сделать, да... не ровен час, паря... Петруха, покойный теперь, известно тебе не хуже меня, сбрых был... Попадись я ему в поноровке, самого бы меня взъерепенил! Да и тебе бы не легче было... уже не по-нашенски задрал бы кат³, не по столбу бы... А мы-то все же, как ни зорок был, а провели его таки?! Дай ему Бог царство небесное!.. – со вздохом закончил Ушаков, набожно взглянув на икону.

И оба одновременно перекрестились, Ушаков и Балакирев.

Андрей Иванович отошел теперь от Ивана и заходил по горнице взад и вперед, словно готовясь к новому опыту своей изворотливости. Время от времени он поглядывал на Ивана, замечая, что лицо его и после ободрения поцелуями милостивца сохраняет грустное выражение. Сыщику пришла мысль, что Ивану, дорогой, офицер уже открыл трагическую кончину жены и сумасшествие бабушки. Подумав это, Ушаков решил начать прямо утешением вдовца, судя о семейном горе понаслышке, сам не зная его. Был, впрочем, Андрей Иванович хорошим семьянином. Но, женись не по любви, никогда и не знал он, что такое страсть, к жене не чувствуя ни антипатии, ни симпатии и видя покорность во всем. В покорности да в угодливости он только и признавал долю самостоятельности жены-хозяйки в супружеском соединении. Натура этого человека с крутым нравом была груба, конечно, но таковы были все. А, как знать между всеми, Андрей Иванович в семейном быту был, возможно, больше чем хороший отец и муж.

Горе мужа, потерявшего жену, он ценил со стороны одной привычки видеть ее каждый день, но это не исключало возможности сойтись с другою женщиною, если судьба уберет первую. Ставя вопрос так, Андрей Иванович по-своему был прав, да к тому еще, зная кое-что про связь Балакирева с Дуней, он, видимо, открыл новую кампанию вопросом:

– Да ты чего нюнить хочешь? Нюнить тебе, молодцу, нечего, хотя и оттого бы, что стал вольный казак! Найдешь жену не первой чета. При милости, теперича, государыни, за стойкость свою... что не выдал... не назвал... по моему совету... всякая баба тебе, паря, обе руки протянет, бери только... Живи знай, да веселись, да пользуйся августейшими милостями.

У Вани сперлось дыхание. Он начал, но не закончил фразу:

– Что же-с... Д-да...

Побледнел, затрясся, как в жесточайшем пароксизме лихорадки, и, потеряв сознание, грохнулся бы на пол, если бы Ушаков не принял его в мощные свои объятия.

Это надоумило Ушакова, что, видно, Балакирев не знал еще ничего о жене, а предложение жениться снова действовало сильнее от неожиданности. Тем, может быть, лучше, что разом? Скрытничанье после удара не нужно, представлял себе Андрей Иванович, усаживая бесчувственного Ивана на стул. Обморок у молодого человека, конечно, не мог быть продолжителен, а с возвращением сознания у страдальца пробудилась потребность узнать все обстоятельно. Силы возвратились, но жгучая боль была в сердце несчастливца. Осиливая эту боль, возбужденную горьким чувством своей двойной вины, Иван нашел в себе силы сказать покровителю:

– Да говорите, Андрей Иваныч... я... я... покорен... воле Божией. Если Святая воля Господня призвала жену мою, Дашу... не томите меня, а гово... рр... ите.

И его забила опять лихорадка.

– Ладно, – поддерживая несчастного, начал покорный Ушаков, – слушай. – И у самого сурового расследователя вырвался невольный вздох. – В день экзекуции твоей жена твоя, как объявил отец ее, поп, бросилась в беспамятстве в прорубь. Прорубили лед и... вытащили на третий день... похоронили с честью, со славой. Вот, видишь, – Ушаков перевернул лист раскрытой книги и прочел: – «По изустному велению его величества, на похороны жены Ивана

³ Кат – палач, заплочных дел мастер.

Балакирева отцу ее дано пять рублей, да три рубля на сорокоуст, в двадцатый день ноемврия сего семьсот двадцать четвертого году».

«...А сего семьсот двадцать пятого году, февраля в первое, по изустному повелению ее императорского величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны дано протопопу Егору Петрову, при переводе согласно челобитью его в Москву, к Верхоспасскому собору что на Сенях, на проезд с семьею, да на провоз рехнувшейся бабки Ивана Балакирева и его младенца сына триста рублей. Да на содержание старухи и младенца Балакиревых ему, протопопу, из соляныя суммы, в зачет на комнату ее императорского величества отпускать ему же, протопопу, по двести рублей в год. И давать ему, протопопу, оные деньги вперед, с наступлением каждой трети. А на сию январскую треть деньги выданы здесь, шестьдесят шесть рублей двадцать два алтына одна деньга. Принял и расписался сам протопоп Егор Петров. А в Москве велено давать оному протопопу ежетретно по шестидесяти по шести рублей по двадцати по два алтына с деньгою, от дворцовых расходов, из вотчинной конторы, бездоимочно и не мотчая. И о сем писано в дворцовую канцелярию, сего февраля во второй день. Приговор закрепил Андрей Ушаков».

– Значит, можешь быть доволен всем, убогатворили... и за все и про все рачитель о тебе один я же, Ушаков Андрей. Меня, значит, следует тебе, Ванчура, не отцом крестным звать, а почитать паче отца родного... Потому что, хоша и есть у тебя отец... лучше молвить кобель, прости Господи, коли еще того не похуже... кобель по крайности со щенком своим иной раз полижется, а укусить не укусит, а батюшка твой – годеи только сыновним предателем быть... Мы знаем уже теперь доподлинно, кто в конторку токарную грамотку подбросил, с чего началась передрыга! А, известно, как за Монса ухватились, сцапали в допрос и тебя, и прочих всех... Знаю я, что и настрочил, складно да красовито таково, оную грамотку – Павел Иваныч Ягужинский... по дружбе радея Авдотье Ивановне Чернышевой... жене... отставной... Кто она такова, сам ты знаешь, и растабарывать нам с тобой нечего. Она подделывалась под самое, а теперя... Без мыльца въезжают... первые люди! И всех-от своим добром силятся наделить да в остуду привести. Известно, чтобы самим мошенничать поваднее было. Помни же, Иван, Андрей тебя не выдал, а как умел, выкрутил-таки и... кому следует, время выбрамши, представил: так, мол, и так, верного слугу, что за нас побои перетерпел, не следует в оковах оставлять... А нужно к себе призвать да ближе поставить... надежнее слуги не сыщете, – не чета он проходимцам всяким. Зорко уж будет передню вашу беречь. Знает он, кто таковы вороги ваши. Сам пострадал... Никого не предал. Всего лишился, можно сказать... за одну верную службу.

И Андрей Иванович снова любовно смотрел на Ивана, довольный собственным изображением мнимого подвига, – хотя с его стороны, если верить иным пересказам, нисколько не было оказано никаких услуг. Дан был приказ прямой – доставить такого-то! И, выполняя уже приказ, Ушаков задумал подействовать на возвращенного Балакирева мнимым участием, чтобы сделать верного слугу государыни – себе преданным. А несомненное возвышение его представлял Андрей Иванович не подлежащим ни малейшему сомнению.

Значению своего красноречия придавал Ушаков большую силу. Потому, с самодовольствием, окрасившим ланиты его розовым цветом, Андрей Иванович посмотрел теперь на Балакирева, думая вычитать на лице его желанное выражение. Его, однако, не было или оказалось так мало, что самолюбие Ушакова объясняло это иначе, чем следует.

Нельзя, однако же, сказать, чтобы выражение лица Балакирева ничего не говорило согласного с видами внушателя. Ушаков объяснял его покорность полным заповенением его воли, а она была поражена, несомненно, силой его горя. Оно покрывало и мысль и чувства пораженного непроницаемым туманом. Но Ушаков принял мрачность Вани за злобу, способную воспитать жажду мщения, и остался доволен действием своих слов на сердце возвращенного узника. Чувству мести присуще выражение мрачности, так же как и сильному горю. И то и другое равно может вызывать оттенки дикости и отчужденности. А именно такие оттенки

могло усмотреть самооболение Ушакова на лице Ивана, покуда безучастного к его враждебным настраиваниям, за невозможностью осилить вдруг горе. Ушаков не мог понять, что все чувства Вани парализованы горем. Для него первым делом было теперь умалить влияние Ягужинского на милостивую государыню. Ягужинский, как он предполагал, пользуясь влиянием своим, успеет втереть в милость Екатерины I, чего доброго, и злейшего врага ее величества еще так недавно – Авдотью Ивановну Чернышеву, способную, тем более теперь, на все и ни перед чем не пасовавшую. Авдотья Ивановна, как хорошо знал Андрей Иванович, умела при первой лазейке, ей открытой, примазаться к кому и к чему угодно. Нерасположение к ней, будь оно и в десять раз больше, чем апатичная сдержанность Екатерины I, Чернышиха сумеет сгладить и заметать лисьим хвостиком похвал, мгновенно отгадывая настроение и попадая в тон угодной материи разговора.

Ягужинский – иное дело. Он способен был легко напиться и в пьяном виде наговорить кучу глупостей, открывая неудавшуюся игру, одному себе во вред. С таким противником не задумывался сладить своими средствами Андрей Иванович, умевший поощрять поддакиванием выбалтывание подноготной охмелевшим хвастуном вроде Павла Ивановича. А против ловкости Авдотьи Ивановны все обращать в орудие своих планов он находил своего умения недостаточным и хотел заручиться помощью Балакирева, направив его на дело как следует. Выбрал он только для внушения неподходящий момент.

Начни он немного позднее, непременно бы удалось и настраивание и всяческое внушение. А иначе назвать подходы Андрея Ивановича к Балакиреву почти невозможно. Если бы без других дальновидных целей припоминал он Ивану его роль в деле Монса и за это вероятность приближения теперь к особе государыни, – незачем было бы ввертывать отца и донос. Незачем было бы открывать и участие Чернышевой. Ясно, что Андрею Ивановичу необходимо было вызвать в Иване недоброжелательность к Ягужинскому с союзницею. На эту тему и последовала широковещательная речь после выяснения гибели жены и сумасшествия бабушки. Но когда пыл говорливости ослабел у Андрея Ивановича, вития, не видя оживления в лице Балакирева, понял, что нужно отложить до другого времени все эти внушения. «Гм, – невольно прошептал Ушаков, – много калякать незачем».

– Затем, – сказал он уже громко, – теперь я должен тебя, Ваня, самолично представить государыне, матушке нашей. Когда удосужусь, пришло за тобой вдругорядь и скажу тогда, как и что тебе надо будет делать.

Тут генерал снял со стены новый кафтан, водрузил на голову завитой высокий парик, с груди бумаг достал шляпу, надел португез, вложил шпагу в ножны и, сказав: «Идем же!» – торопливо пошел из дверей.

Иван Балакирев машинально двинулся за ним с крыльца, налево, вдоль Невской набережной. Перейдя шесть домов, в самые сумерки, Балакирев и его вожак вошли на крыльцо Зимнего дворца.

По праву повествователя позволяем себе воротиться несколько назад. Прежде чем описывать представление императрице Ивана Балакирева, расскажем о другой аудиенции у ее величества.

Хлопотун, председатель траурной комиссии генерал-фельдцейхмейстер Брюс третий раз уже приходил в приемную ее величества, имея, как он объяснял, крайнюю надобность видеть монархиню.

Два раза Авдотья Ильинична, ожидая с его стороны грустного доклада, отказывала ему, говоря: «Ее величество заняты». Теперь же, не видя в передней Ильиничны, Брюс сделал два шага в следующую комнату и, увидев в зеркале лик ее величества, негромко спросил:

– Не соизволите ли, ваше величество, удостоить воззрением труд персонных дел мастера?

– Пожалуй, пусть придет, – был августейший ответ.

Брюс исчез.

Через минуту показался мужчина лет тридцати пяти, в приличном гарнитуровом⁴ кафтане с брызгами⁵ из черного петинета и в подстриженном парике. Смуглый и несколько сумрачный, мужчина этот имел добрый, располагающий к себе взгляд. Он держал в руке натянутый на подрамник холст и бережно нес его, очевидно чтобы не повредить свежее письмо.

И он, как Брюс, войдя в приемную и не найдя в ней никого, сделал два шага в следующую комнату, смотря вдаль и начиная кланяться сидевшей у себя государыне.

– Покажи, Иван Никитич, что у тебя такое? – милостиво молвила Екатерина I.

Живописец Иван Никитин – это был он – вошел в апартамент государыни и оборотил к ее величеству холст.

– Как живой! – вскрикнула Екатерина I. – Но ты придал лицу государя такое выражение, что... тяжело долго смотреть...

– Это выражение есть, ваше величество... – оправдывался художник. – Я писал, что видел.

– Д-да, конечно, только...

Вошла Ильинична, взглянула сбоку на картину, и можно было заметить, как невольный трепет пробежал по чертам лица ее, мало открывающим обычно ее чувства.

– Ишь какую страсть намалевал, – произнесла она шепотом, с укоризною художнику.

Никитин был не из робких, но и он теперь, сам пристальнее начав вглядываться в написанный им лик Петра I, лежавшего на столе под синим бархатным покровом, невольно попятился. Лик покойного, с грустно-торжественною думою на челе, производил магическое действие. Сердце начинала щемить тоска, неотступно охватывавшая свежего человека при первом взгляде на застывшие черты, которые уже потеряли выражение страдания.

У самого Никитина выкатилась слеза. Проступили слезы у Ильиничны, и она молвила государыне:

– Ваше величество, в горе своем повелите портрет оставить на время в траурной...

– Да, да, поставь, Иван Никитич, свою живопись сбоку ложа государева, – отдала приказ императрица.

Никитин поклонился и вышел.

Ее величество погрузилась в думу, унесшую далеко-далеко мысли августейшей повелительницы России.

Уже начало темнеть, а Екатерина I все сидела, сосредоточенная и унылая.

Зная сам расположение дворца, Балакирев, разумеется, не останавливался, следуя за генералом до самой комнаты ее величества, где уже царил полумрак.

С уменьшением дневного света на ярко-красном фоне стен, даже в светлой комнате, ближайшие предметы потеряли свою обычную резкость и угловатость, а задние слились совсем с потемневшею стеною. Государыня сидела в глубине комнаты на канapé, вся в черном.

Бледное лицо ее величества теперь одно резко выделялось из мрака, приятные черты приобрели особенную миловидность и трогательную доброту.

Холодный воздух, однако, и на коротком переходе от дома Ушакова успел несколько освежить воспаленный от прилива крови мозг Балакирева, и сердце его теперь почувствовало потребность: скорее разделить свое горе.

Подступив с поклоном к ее величеству, Балакирев услышал милостивые слова, произносимые голосом, способным тронуть всякого, а не только его в теперешнем положении:

– Я очень рада, что вижу тебя, Иван, здоровым и могу, за верность твою, наградить тебя... проси, чего ты хочешь? Мне известно все, чем ты за меня пожертвовал.

⁴ *Гарнитур* – плотная шелковая ткань.

⁵ *Брызжи* (брыжи) – манжеты или оборка в складку.

– Всем, государыня, что привязывало меня к жизни. Я... все... потерял... и... остаюсь, не знаю зачем, жив... неключимый... – Тут громкие рыдания перервали останавливавшуюся от волнения речь его. Он упал на колена перед государынею и, у ног ее, склонясь почти до пола, плакал как ребенок.

Он все забыл, кроме своего горя, с полнейшим ощущением бесприютности. Из глаз молодого вдовца слезы лились неудержимым потоком, и с каждым всхлипыванием поток этот прорывался все стремительнее.

Екатерина наклонилась к плачущему и нежно, как мать, водила царственную рукою своей по влажным кудрям его.

– Плачь, плачь. Это лучше тебе, – тихо и ласково говорила государыня. – Знаю, как тяжелы твои потери.

И Иван плакал, сперва громко, потом навзрыд, потом тише, без слов. Никто не прерывал его.

Ушаков, стоя близко, казалось, испытывал сам, в первый раз в жизни, что-то похожее на жалость. Екатерина I, ласкою успокаивая плачущего, сама расстраивалась больше и больше.

Наконец, не будучи в состоянии владеть собою, царственная вдова почувствовала, как по щекам ее заструились слезы. Они закапали на остывавшее уже лицо Балакирева и оказались лучшим средством для приведения его в сознание. Он как бы очнулся, схватил руку государыни и поцеловал с такою беззаветною признательностью, что, живо почувствовав силу ее, государыня взяла верного слугу за голову и, приподняв, прошептала:

– Я понимаю тебя.

Андрей Иванович слышал это и, еще внимательнее взглянув на Ивана, неприметно выскользнул из комнаты и направился в траурную залу. Найдя там собравшееся духовенство, генерал поспешно воротился в покои государыни и перед комнатою ее величества громко произнес:

– Пора, государыня, идти на панихиду!

Екатерина I, отпустив Балакирева, была уже одна и тихо плакала.

Что думала теперь, проливая наедине слезы, повелительница России, – мудрено было кому-либо разгадать и с более тонким чутьем, чем у Ушакова, невольного свидетеля их. Но государыня была, очевидно, глубоко растрогана, дав полную волю слезам.

Образ Балакирева, с его преданностью и безграничною привязанностью, не привел ли на память еще чьи-либо чувства, отличавшиеся такими же оттенками? Не привел ли живой на память умершего, воспоминание о котором еще оставалось дотоле нетронутым?

Такое воспоминание могло, однако, раз проснувшись, более не теряться, заявляя живучесть свою невольным волнением и слезами.

Все эти соображения Андрей Иванович принял во внимание и решил сообразно им расположить план дальнейших своих действий.

Сопровождая государыню, шествовавшую в траурную залу, достойный разыскиватель ковов⁶ про себя повторял:

– Замечать надо, зорко замечать... все!

При вступлении в залу ее величеству пришлось проходить между чинно расступавшимися, облаченными в траур, особами обоего пола, в полном сборе. Архимандрит и белое духовенство были в облачении. Ее величество дошла до гроба супруга, стала в головах, перекрестилась и сделала земной поклон. Вся зала выполнила то же, и архимандрит начал службу.

Стройные голоса певчих заунывно запели, видимо стараясь не поднимать верхние ноты. Чередной архимандрит с большим тактом, величественно произносил возгласы и кадил. Первые ряды присутствовавших усердно клали поклоны; задние ряды тонули в дыму фимиама.

⁶ Ков – вредный замысел, заговор, коварное намерение.

Старшая цесаревна тихо плакала, поминутно прикладывая к опухшим глазам смоченный платок. Запели «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею» – вдруг государыня, взглянув случайно на стену, куда поместили портрет усопшего, вскрикнула и повалилась без чувств.

Если бы ловко не подхватили, ее величество могла удариться о нижнюю ступень амвона, на котором поставлен был одр с телом монарха. Императрицу на руках понесли в опочивальню, и среди понятного волнения архимандрит закончил панихиду.

Начались толки расходившихся. Несколько дам наперерыв заговорили одно, что будто бы каждая из них следила за изменившимся лицом монархини и что, раньше обморока, они уже ожидали его. В числе говоривших это усерднее других была Авдотья Ивановна Чернышева. Не ограничиваясь замечанием, она остановила двигавшуюся к выходу княгиню Голицыну, приближенную, но не влиятельную потешательницу.

– Ты бы хоша, Наталья Петровна, матушка, вздогадалась да разговорила бы, что ль, ее, нашу мать, чтоб она поменьше убивалась теперь, без пути... Попомнить ей надо о дочерях, да и о внучатах... Поднять... пристроить, утешить да обласкать... некому сирот, кроме ее, голубушки... Тоску-кручину на время хоша благоволила бы отложить! Долг велит так, хоша и тяжело, да...

– Ништо, ништо, сударыня, тебе петь-от так распрекрасно... – отговаривалась умная старуха от опасного предложения. – Так вот и послушает она меня... Сунься-ка попробуй сама, коли так ловка... чем нас подсовывать... Стареньки уж мы на посмех поднимать.

– Ничего, родная, не один зато червончик перепадет! – язвительно кольнула шутиху Авдотья Ивановна.

– Тебе бы, генеральша, и подлинно сподручнее утешать государыню, – не без едкости отрезал вдруг Андрей Иванович, протискавшись до говоривших и вмешиваясь в речь их, – уж кому ближе теперь приняться утешать матушку государыню, как не вашей милости?

– Шутник ты большой, Андрей Иваныч! – нашлась уколота, засмеявшись, конечно, она очень хорошо поняла, почему вмешался Ушаков.

– Ловкая баба и ты, что говорить, – ответил, не оставшись в долгу, разыскиватель.

II. Случайный человек

Ее величество в опочивальне своей не скоро приведена была в чувство.

Еще слабым, блуждающим взором окинув окружающих женщин, государыня спросила:

– Нет здесь Алексей Васильевича?

Побежали искать усердного кабинет-секретаря, но, скоро воротясь, донесли, что он только что уехал.

– Не прикажете ли послать?

– Пожалуй, – сказала медленно государыня, как бы соображая, но потом махнула рукой с неудовольствием.

В это время пришли цесаревны, дочери ее величества: грустная Анна Петровна и беззаботная, веселая как день Елизавета Петровна.

Старшая цесаревна села подле постели и продолжала молча утирать слезы.

Елизавета Петровна села на постель и, целуя мать, зашебетала, как ласточка, спрашивая нежно:

– Что с тобой, мамаша? Болит у тебя что? Сердце... или головка?

– Ничего... Теперь лучше, – ответила неохотно государыня, но, взглянув в веселые глаза дочери, сама оживилась и приподнялась с пуховика на локоть.

Цесаревна Елизавета Петровна принялась еще живее тормошить и целовать мать, как видно принимавшую ласки своей любимицы не только без гнева, но с удовольствием. Живая девушка знала хорошо, чем развеселить и утешить родную. Целуя, она настойчиво спрашивала государыню:

– Да ты, мама, скажи мне вправду: отчего это тебе дурно-то сделалось?

– Нездоровилось мне еще с утра.

– Так ты бы не ходила туда, в эту скучную залу, где ты всегда плачешь.

– Ведь там отец... Нельзя... Что подумают?!

– Меня бы позвала, коли нездоровилось, я бы за тебя пришла туда и всем сказала бы громко, что ты, мамочка, лежишь и не можешь выйти в залу.

– Да ведь прошло!.. Что ж теперь толковать?

– А то толковать, чтобы с тобой, мамаша, опять чего не случилось... Говорили все... и Авдотья Ивановна, и княгиня, и Брюсша, что ты должна беречь свое здоровье... не расстраиваться... Для нас жить, слышишь, мама, для нас! Папы нет... Ты нам должна заменить его. Береги же себя!

– Беречь себя одна статья... Дело – другая... Мне нельзя остановить дел. Нельзя не думать о них. Хоть бы и для вас, и... за вас...

– Тебе есть кому приказать делать дела.

– Не всегда... Да и кому прикажешь?

– Как – кому? И как это – не всегда? Кто бы мог тебя послушаться? – с жаром вскрикнула бойкая, живая цесаревна.

– Не об послушании я говорю. Ослушанья не может быть, а задержка может быть; и когда потребуешь – не найдут тех, кого нужно... Говорю я тебе, и еще повторяю.

– Скажи же, мамаша, кого нужно тебе: я сама пошлю.

– А если нет – ну что же ты сделаешь? Я посылала... Сказали: ушел... нет и негде взять, нельзя человеку торчать здесь. Был недавно, когда понадобилось, глядишь – нет.

– Нет одного – другие могут быть, прикажи другим!

– Спорщица ты, Лиза, – больше ничего. Крикунья... Нельзя так настаивать. Нужно делать все тише, мягче обращаться к людям, особенно к таким, которых уважаешь.

– Ну конечно, мамаша. Не суди только обо мне, что будто я не больше как крикунья. Я понимаю, что нужно взыскивать с разбором. Однако... Если дело так тебя беспокоит и нет одного слуги, поручи другому.

– Заметь, моя милая, что окружающие нас в мнении нашем значат не одно и то же. Одному можно доверить больше, другому меньше. И прежде чем заставлять делать, нужно испытать человека, годен ли? А как подумаешь об этом, да и раздумаешься: лучше ли выйдет перемена? Задашь себе такой вопрос – иное и отложишь. И подождешь. Особенно если является желание сделать... хорошее... Терпение подскажет и лучше... как сделать.

– Терпение, мамаша, однако, может оказаться промедлением. Хорошо, как можно подождать, а как нельзя... Тогда – мой совет – лучше приказывай, чтобы сделали.

– Слушай же: приказ я отдала бы, положим, секретарю – а Макарова, говорят, теперь нет. Он мой секретарь, а как человек – устал уже. Что же его тревожить мне, вечером?

– Ну хорошо, оставь его отдыхать. И если секретаря нет, мамаша, – упрашивала теперь нежно цесаревна, – только не огорчайся – и я могу быть твоим секретарем. Ведь я люблю тебя, ты знаешь. Стало быть, можешь мне приказывать что нужно: я напишу и вместо секретаря указ. Право, мамаша, напишу – вот увидишь. Девицы, дайте бумагу и перья!

И цесаревна сошла с постели и села у стола, на котором горели восемь свечей в высоком шандале. Бумага оказалась на столе, и перья были тут же. Одно перо взяла в руку цесаревна Елизавета Петровна и с сознанием важности принимаемой роли произнесла громко:

– Приказывайте же, ваше величество, что писать?

– Гм, что писать?.. И ты хочешь писать? Напиши же на первый случай, что я жалую возлюбленную дочь нашу, цесаревну Елизавету Петровну, в наши кабинетные секретари.

Перо заскрипело, и через несколько мгновений цесаревна произнесла:

– Готово!

– И подпиши за нас: Екатерина.

– Написала.

– Поздравляю с новой должностью!

– Рада стараться, ваше императорское величество! Прошу снисходить только, коли что и не так окажется.

И шутница цесаревна низко кланялась, встав со стула.

– Быть по сему! – внятно ответила Екатерина I. – Будем милостивы. Только будь усерден, секретарь.

– Буду стараться заслужить милостивое мнение вашего величества, – буду стараться усердно. А теперь что еще угодно повелеть?

– Пиши: «Пожаловали Мы любезно-верную нам, состоящую при наших детях, Авдотью Ильину Клементьеву в баронши и в штацкие дамы с положенным жалованьем».

Авдотья Ильинична, услышав продиктованный указ о ней, подошла и, поклонившись в ноги ее величеству, облобызала августейшую десницу.

– Еще что угодно повелеть? – спросил августейший секретарь.

– А подписано?

– Все как следует. Прочитать велите?

– Не надо... Верю.

– Что прикажете вашему верному секретарю, государыня?

– А верен он мне? Как вы думаете? – обратилась государыня к окружающим ее женщинам, подмигивая. – Ты какого мнения, Анисья Кирилловна? – взглянув на стоявшую поодаль девицу Толстую, спросила государыня, сжимая серьезно губы.

– Полагать надо, верен будет, ваше величество. Как быть неверну при таких милостях? Легко ли, прямо в секретари!.. Вот мы, грешные, не один десяток лет грамотки всяки разные писывали, да до ранга и поднесь не дослужились.

– Пиши же, секретарь, еще: «Повелели Мы любезно-верной нашей камер-девице Анисье Кирилловой, дочери Толстой, за многие годы службы при нас и за приказные труды, триста дворов отсчитать из подмосковных наших, полюднее да подомовитее...»

И Толстая, приблизясь, принесла свою верноподданническую благодарность, как и пожалованная в баронессы Клементьева.

– Готово, ваше величество, и подписано. Еще что угодно?

– Ваше величество, не запамятуйте и службы верного слуги вашего! – вдруг раздался голос из-за двери, и в проеме ее показалась бравая фигура Ушакова, отвешивавшего низкие поклоны.

– Чего же желаешь, Андрей Иванович? Коли дворов – укажи, где есть свободные. Почему не дать, можно.

– Я не о себе осмеливаюсь докладывать вашему величеству, а дерзаю напомнить о несчастливце. На службу ваше величество вызвали из заточения, а за терпение безвинное не награжден.

Лик ее величества заалел румянцем оживления.

– Виновата: чуть было не забыла. Спасибо, Андрей Иванович: всегда нам напоминай о достойных людях. Пиши, секретарь: «Пожаловали мы Ивана Балакирева в офицерский чин, в Преображенскую гвардию, и быть при нас у поручений особенных. Дать ему триста дворов, где пожелает, и оклад отпускать из соляных денег... и сшить ныне же, в приказ, мундир, а во что обойдется подать счет для уплаты... из комнатного расхода».

– Написано и подписано! – через несколько минут произнесла цесаревна Елизавета Петровна.

Ушаков все стоял в дверях и кланялся.

– Не надоумишь ли, Андрей Иванович, еще кого нужно чем пожаловать... из быв... по твоей части.

– Рази, ваше величество, помиловать изволите: из ссылки воротить взяточницу, как бишь ее. Прости Господи... эти немецкие прозвания!.. Память-от не гораздо напоминает... вертится, а на язык не попадает... Полк... Волк... Болк... Балкину?

– Да, да... Правда... Пиши, Лиза: «Оказывая наше монаршее милосердие... повелеваем...»

– «Простирая монаршее милосердие и на впадших в проступки, снисходя к раскаянию...» – будет лучше, ваше величество, – на площадь выводили и вины паскудные читали... – высказался тоном ментора Андрей Иванович Ушаков, заслужив и на этот раз милостивую улыбку.

– Хорошо... напиши так... будет чувствительнее... Поправь: «...повелеваем Авдотью Балк из ссылки воротить и быть ей к нам... верною службою загладить прошлое...»

– Истинно, ваше величество, и царскую прозорливость оказать изволили в изъявлении таковыми терминами... помилование изрекая... – с почтительным поклоном опять высказал Ушаков, войдя в роль дельца, а уже не просто напоминая канцелярские формы и приличия.

Опять милостивая улыбка со взглядом августейшего поощрения. Ушаков вырос чуть не на четверть от такого обильного излияния благосклонности, с первого же отважного шага, в заявлении деятельной преданности. Видя внимание государыни, он задумал увенчать смелую попытку еще более решительным предложением, которое, в случае принятия его, должно было оградить Ушакова от подвохов. «Уже поздно будет тогда подставлять ножку нам, – думал он, – когда получим право доклада свободного от себя, а не по призыву!..»

Решив ловко и неотразимо произвести подход, Ушаков, кашлянув, произнес:

– Осмелюсь, ваше величество, еще испросить августейшей резолюции... чтобы впредь не подвергнуть себя мне, рабу вашему, гневу за неисполнение... Мнится мне, для порядку необходимо... коли на службе изволите числить офицером Преображенской гвардии онго

Ивана Балакирева, зачислить его в которую ни есть роту по полку. Не благоугодно ль разрешить в мою роту? Военной коллегии я предлагал произвести из фендриков одного в прапорщики, за недостаткою. Так не повелите ли на место одного числить у нас Балакирева?

– Очень благодарна, Андрей Иванович. Порядки ваши я не знаю: как нужно сделайте, чтобы и на службе числить... Мы думали...

– Повышений человек заслуживает, не перестарок какой еще! – подсказал Ушаков, довольный своею находчивостью. Помолчав и соображая, он опять заговорил: – При государе, ваше величество, мы, майоры гвардии, каждый ведал свою часть и с докладом являлся... воли монаршей испрашивать и принимать приказания. Я, к примеру сказать, по розыскной части, в особливой аттенции был монаршей содержим. Не изволите ли такожде повелеть от вашего величества токмо повеления мне принимать и оберегать ваше величество от многочисленных козней, возникающих от коварных людей... Иные претворяют себя угодники быти и старатели о славе монаршей, а сами суще волки в овечьей шкуре, ища хищения, и неправды, и клеветы, и злохуления. А раб ваш, Ушаков Андрей, таковых продерзателей изыскивать и усматривать заобычен и... и своевременно вашему величеству подобные козни открывать и разьяснять потщится, буде соизволите разрешить... доклад мне имети и дело свое делати по прежним примерам.

– Очень благодарна, Андрей Иванович... почему не так?... Только как же это, к примеру сказать, думаешь ты? Я людей притеснять не хочу. Может выйти ошибка, чего доброго... Розыски в страх приводят больше тех, кто слышит о них и вины не знает, даже...

– Раб ваш, к примеру, привел розыски... не то совсем, чтобы кого схватить, а разузнать, ваше величество, исподтишка, никого не трогая, я... разумел... а продерзость опасется злочинить, чуя, что бдит глаз недремлющий, ваше величество. Ведь продерзостей и сам блаженной памяти император Петр Первый строгостью, по истинному о благе общем радению, обуздать не мог. А присмотр нужен и благовременное донесение. И на него что угодно изречь, вашего величества мудрость и благость одни внушить могут. А раб ваш наветом обнести и врага своего дерзости не имеет. Стало, про розыски с пристрастием не может быть и речи, ваше величество... а благоразумное, умеренное наблюдение.

– Это другое дело... – молвила государыня, начиная думать о неожиданном предложении усердствующего разыскивателя. Его последние слова, впрочем, значительно успокоили сомнения доброй императрицы, и лицо монархини приняло обычное выражение благосклонности и открытого расположения.

Ушаков умел хорошо читать выражение на лице собеседника, и снова возникавшее неверие в успех заменилось в уме его желанием настоять на предложении доступных ему услуг, подтвердив доводы сильными аргументами. Перед неотразимостью их – думал разыскиватель – не устоит робкая нерешительность государыни, судящей о других по доброте своей.

– Осмелюсь доложить, ваше величество, – снова начал он, – повод для предложения раба вашего, кажется, не малый: вдруг два подметных письма уявилось. Исполнены оные продерзостного глумления о высочайшей персоне, как-де управлять будет, коли воры наголо окружают? И первым наименован князь светлейший... затем Чернышев – якобы он прижимки чинил при расчетах по подрядам... И генерал-адмирал, можно сказать голубь незлобивый, – и тот не избег лживых нареканий злостного пашквиля. Вычитав сии причинности, не хотел бы сперва я доводить до сведения вашего величества про сию черноту души врагов общественного покоя. А сомнения монаршие на заявления последнего раба вашего долгом поставляют меня во известие предложить и испрашивать милостивого указа таковые непорядки благовременно пресечь – незримым бодрственным наблюдательством, а злу расти весьма не давать... А указец – как повелит державство ваше нам делать и как и о чем докладывать – я сам, госу-

дарыня, здесь же напишу: лишнего не будет, а самая что ни есть нужда. И прочту все сполна. А. ее высочество не отречется контрасигнировать⁷: «быть по сему».

Екатерина, внимательно выслушав все, однако, молчала. Для Андрея Ивановича наступила минута высочайшего волнения. «Сорвалось?..» – нашептывал робкий ум. «Удастся еще авось», – читали рысьи глаза, впившись в кроткое лицо монархини, погрузившейся в глубокое раздумье. Его решил в пользу Андрея Ивановича Ушакова суровый, холодный взгляд Авдотьи Ильиничны Клементьевой. Она давно уже насторожила уши и напрягла все свое внимание, силясь уразуметь, что такое затевается. Случайно кинув взгляд на эту ехидную, в сущности, персону, которую никогда не могли вполне удовлетворить монаршие щедроты, Екатерина как бы очнулась, взглянула милостиво в глаза Ушакову и сухо молвила:

– Пиши указ!

Андрей Иванович был уже у стола и из-под рук цесаревны Елизаветы Петровны очень ловко выдернул тетрадку голландской золотообрезной бумаги. Глаз Ушакова, упавший как бы случайно на то место, где были перья, указал ему и одно из них. Мгновение – и рука генерала держала это перо. Помакнув им в чернила и едва склоняясь верхней частью плотного своего корпуса, Андрей Иванович уже принялся строчить по бумаге.

Быстрота выполнения этого ловкого маневра была истинно изумительная. Еще не успела девица Толстая, стоя с другой стороны стола, из-за плеча писавшего бросить два-три любопытствующих взгляда на содержание письма, как Ушаков уже кончил и, положив перо, выпрямился, обратясь лицом к государыне.

– Читай! – не без волнения отдала приказание Екатерина.

– «По многим не терпящим медленья случаям злостной продерзости признали мы нужным поручить нашему генерал-майору и майору гвардии Андрею Ушакову негласно проводить и нам непосредственно доносить, для принятия благовременно мер к пресечению зла. И ему, Ушакову, опричь нас, о порученном деле никому не говорить, а делать, что повелим мы, дается полная мочь».

– В таком виде согласна, – освобождая грудь вздохом и успокаиваясь, произнесла Екатерина. – Лиза, подпиши!

Поднести цесаревне, низко ей поклониться, почтительным взглядом указав место для подписи, а по выведении литер «Екатерина» ловко схватить указ – было для Андрея Ивановича делом двух-трех мгновений. Рысьи глазки Ушакова теперь светились, можно сказать, электрическим светом, и вся физиономия горела багрянцем самодовольствия. Суровое выражение его губ даже в эту минуту силилось как бы смягчить свою обычную жестокость, превращаясь в полугримасу. В полном восторге от блистательного успеха своего подхода, генерал только машинально кланялся и, кланяясь, подавался сам к двери, пятясь задом довольно быстро. В дверях он натолкнулся на вошедшего запыхавшегося Макарова, который смерил глазами неожиданного в эти часы посетителя государынинных апартаментов. Взгляды Макарова и Ушакова невольно встретились. Каждый в этом взгляде прочитал злость и соперничество.

– А, Алексей Васильевич, добро пожаловать, – ласково произнесла Екатерина I, милостиво давая поцеловать свою руку вошедшему.

– Изволили звать, ваше величество? Я и поспешил.

– Оpozдал, сударик, – змеиным шепотом произнесла новопожалованная баронесса, в глазах ее, устремленных на Макарова, была смесь досады, начинавшейся боязни и любопытства, сильно возбужденного действиями Ушакова.

– Я спросила только, Алексей Васильевич, – произнесла Екатерина. – Сказали уехал... я было и отложила до утра, да вот проказница Лиза пристала да пристала «Мамаша, хочу быть секретарем твоим». Я ей, смеха ради, и дала записать приказания.

⁷ Контрасигнировать – подписать.

Цесаревна Елизавета Петровна в это время подавала Макарову свою пробную работу по статс-секретарству.

– Так это, ваше величество, только для шутки, – пробегая первый указ о новом пожаловании в секретари цесаревны, произнес Макаров, успокаиваясь и свертывая все прочие указы, чтобы положить их в карман.

– Нет... только о ней, разумеется, – указывая на дочь, молвила серьезно государыня... – Остальные исполни, Алексей Васильевич.

Макаров погрузился в чтение, и лицо его с каждою прочитанною бумагою стало делаться мрачнее. Он даже не мог пересилить проступавшего невольно смятения.

Пробежав последнее пожалование, Макаров бросил глаза на дверь, за которою уже исчез Ушаков, и лицо кабинет-секретаря выразило дурно сдерживаемую досаду и сильнейшее побуждение узнать, что за бумагу унес разыскатель. Яркий румянец, выступивший на щеках Макарова, мгновенно сменился бледностью, когда поднял он вопрошающий взгляд на императрицу и произнес:

– И еще был дан указ, что ли, Ушакову?

– Это до тебя не касается, Алексей Васильевич... Наше особое дело, – сухо, но строго и решительно произнесла государыня вполголоса.

Кабинет-секретарь потупился, и им овладело полнейшее смятение, быстро переходящее в страх, так что он поспешил, отвешивая низкие, неловкие поклоны, удалиться.

Вслед уходящему кабинет-секретарю раздался веселый, заразительный смех цесаревны Елизаветы Петровны, овладевший вдруг всеми присутствующими, начиная от государыни, давно так не хохотавшей, как в этот вечер.

Предмет же этого проявления неудержимой веселости, Алексей Васильевич Макаров, чувствовал себя совсем нехорошо, обуреваемый то страхом, то завистью. Для него в этот вечер Ушаков вырос до гигантских размеров, с безграничным влиянием на ум и волю государыни, тогда как он, Макаров, только было решил влиять на них по своему разумению, с единственной целью выказывать свое значение. У людей с таким настроением, конечно, легче всего вырастают химеры при каждом не предвиденном ими обстоятельстве. А что-либо предвидеть в упоении сознанием своей воображаемой силы они не хотят и даже не могут, так что им легче всего испытывать и подлинные поражения. Такие самонадеянные люди, как Макаров, разумеется, впадают в крайности. Воображаемая опасность бывает им, однако, чаще всего на пользу, потому что отрезвляет и принижает их скорее всего другого. И в этом состоянии они готовы снизить до искательства даже у людей им обязанных или ими только держащихся.

Так было и с Макаровым в этот вечер. Из комнаты государыни он направился было в смущении домой и сел в сани, но потом, подумав, приказал ехать к светлейшему князю, в котором рассчитывал найти непременно поддержку, указав ему на нового опасного врага в лице Ушакова.

– Старая лисица, старая лисица! Проклятая гадина!.. Туда же, свинья, рыло закидывает – на высоту?! Ишь как подъехал: наше-ста дело. Не твое! – про себя шептал Макаров, собираясь с мыслями – как бы представить князю общего врага губителем покоя и подкапывателем под самого светлейшего.

Но князя не было дома, и не могли даже указать, где он теперь.

Алексей Васильевич засвистал, как всегда дельвал в минуту полнейшего затруднения: что предпринять при таком казусе? Свистал, свистал да и надумал.

– В Зимний, с Большой улицы, во двор! – крикнул он кучеру, садясь в сани.

– Сем-ка, попытаем Ильиничну! Уж лучше разом все узнать... легче будет ухватиться за что следует да повернуть. Прошептала ведь она мне, кажется, – «опоздал». Значит, знает, что там за турысы подвел Андрюшка-шельмец?

И Алексей Васильевич повеселел.

Приехал. Коридорцем прошел впотьмах до лестницы и вверх по ней.

За перегородкой свет. К двери – на задвижке... Стукнул...

– Кто там? – раздался мужской голос.

– Не приходила рази Авдотья Ильинична?

– Она не здесь... Меня сюда приютили покамест... Да вам что?

И говоривший встал и отдернул задвижку.

Перед Алексеем Васильевичем, держа свечку в руке, стоял Ваня Балакирев, в своем камер-лакейском кафтане, в котором был привезен и представлялся государыне.

Макаров подался на шаг назад при новой, неожиданной встрече, но тут же вспомнил, что за пазухой у него указ о Балакиреве, потому мгновенно сообразил, с чего начать.

– А-а, добро пожаловать! Старый знакомый... Не думал так скоро свидеться, – ан на тебя и напал! С царской милостью! Просим любить да жаловать – по старине! Ну, как, братец ты мой, смекаешь теперь пристроиться? Пользуйся случаем – мой совет! – отыскав указ и пробегаю его еще раз теперь, с расстановкою молвил Макаров. – А нас, старых друзей, обижать грех будет, да и несподручно: ты во мне, я в тебе нужду имею. Так и живется. Вот указ-от. Сговоримся, как будет его выполнить, чтобы ни тебе, ни мне под слово не попасть...

И Алексей Васильевич, сбросив шубу на стул, сел на диван подле Вани, дав ему указ в руки и начиная всматриваться: как примет он эту милость.

– Перво-наперво мундиром, значит, Алексей Васильевич, коли милость будет, ускорить постарайтесь... Стоит тут «ныне же», то есть не мешкая.

– И я так разумею. Утром прикажи позвать портного из мастерской, да прикажи ему сходить в Преображенскую канцелярию, сукно принять на образец – чтобы дали офицерский кафтан. А я уж черкну копию и пошлю до света. Да сам заверни в контору ко мне. Покажу я тебе список, где дворы значатся: выбери себе по указу. Коли десяток-другой и с походцем будет – не беда... Я пошлю выпись воеводе: отвести и отказать за тебя – и закрепят. Да и еще коли что нужно, – скажи: напишем. Да... надо и о том подумать, – молвил Макаров в раздумье. – Ведь бабка твоя, кажись, состоятельная?... – начиная припоминать процесс отца в прошлых годах, задал Ване вопрос Макаров. – Так чтобы не спознал отец твой ее теперешнее состояние да... не начал прежнюю клязу – поспеши, не плошай. Скажи только, где испомещена бабушка; я тотчас указец и пошлю воеводе, чтоб, до выздоровления, управлять вотчинами тебе, а никому иному...

– Не надо, Алексей Васильевич: пусть отец как хочет. Его ведь добро. Мне и царской милости довольно за глаза. Один я что перст остался... чего мне копить? Зачем, подумаешь иной раз, в живых остался?

– Ну, вот уже не похвально! Неблагодарному быть перед Богом грех и перед людьми стыд. Да твоя, правду-матку молвить, и жисть-от начинается, чего доброго, теперь, может... пойдешь в чины... Отличен будешь... силен будешь... Мы тебя, ты – нас оберегай! И все как по маслу пойдет. Невесту сыщем красавицу... коли раздумал с Ильиничной родниться. А мой совет: Дуньку не бросать – подпора будет и прекрепкая и надежная. Затем, что при лице... И... во как заживем! Никакие Андрюшки Ушаковы не будут страшны! – заключил свой совет Макаров и сам вперил в Ивана свои быстро бегающие, вечно улыбающиеся глазки.

– Мне Андрея Ивановича и то бояться нече... На что в крепости прошлое дело покрывал как мог, не тиранил, – так и привезли к нему: милость обещал и обошелся словно родной. Да и родной другой так тебя не встретит, не обласкает. Сам, веришь Богу, и государыне представил и при мне же говорил: «Грешно будет вам Ивана не помнить... Что не выдал – уж я засвидетельствую...» А я в ту пору – сказал мне только Андрей Иваныч про смерть жены, да про бабушку – я, знаете, словно шальной был... в чаду: говорить не мог, как теперь с тобой. Только упал государыне в ноги да ну плакать. Не плаксив я, Алексей Васильич, – я думаю, знаете сами, а тут слез удержать не мог – плачу-разливаюсь. Выплакался – и словно полегчало.

А государыня милостиво изволила мне волосы разглаживать, словно мать родная, да тихонько уговаривает: «Перестань!..» Как полегчало, я схватил ручку ее величества да ну целовать... Такая смелость нашла! А ее-то величество осчастливила меня: в лоб поцеловала!.. Вот я мало-малю и оправился.

– А-а! Вот как!.. Так это Андрей тут посодествовал? Ну, коли тебе милость, – Господь с тобой... От тебя зазору да лиха не ожидать – свои люди. Я тебе поперек дороги не стану. Ты всегда меня знал – спервоначалу. Я тебя, знаешь, не выдам, ты – меня. Что скажу – ты как следует, начистоту выполнишь. Я – в свою очередь... А насчет Ушакова... Я тебе, братец, скажу по душе: на его лисьи подбеганья ты не сдавайся! Есть ли такой другой шельмец?! А коли знать хочешь: в вашем деле поноворку чинил Андрюшка – и то, разумеется, не ради тебя. А сам он плут преестественный, и подлипала, и мошенник – может, почище еще Павлушки Ягужинского, хоша и тот угар! Ты не гляди, что у Андрюшки свиное рыло, уж коли умел отвести очи что ни есть зоркого государя покойного, так, значит, всем шельмецам голова! Чего доброго, закабалит он тебя своим приголубливаньем в соглядатаи всем добрым людям на беду! И ты не поддавайся, смотри у меня! Узнаю, что Андрюшке поддался, – беда тебе: на глаза не пушу! А Дуньки Ильиничниной держись, не плошай. Чтоб ее у тебя из-под носу какой ни есть немчик голштинский не увел. Голштинцам, братец ты мой, лафа теперь, я тебе скажу. Эти голштинские немцы уж на что лучше щука, чем светлейший, – и того осилили. С виду простаками прикидываются: и выпить не прочь или там песенку спеть, а дело у них делается! И дружно стоят как один за своего. И герцог Голштинский, к примеру молвить, добряк, а все себе на уме! Он теперя жених цесаревны. Помолвили – ты не слыхал, должно, – в Катеринин день. Тебя, может, уже услали тогда?

– Нет еще... а скоро потом увезли в Ревель проклятый! – сказал и с досадою плюнул Иван Балакирев, припомнив заключение.

Пришла Ильинична, и за нею следом Дуня.

Макаров встал и вызвал Ильиничну, заявив, что ему необходимо переговорить с нею немедленно.

Дуня осталась с Ваней, и только началась между ними интимная беседа шепотом, как послышался за дверью легкий шорох. Балакирев подлетел и, распахнув дверь, отступил на шаг в крайнем изумлении. Это же ощущение охватило мгновенно и Дуню.

Перед смущенною парой оказался сам Павел Иванович Ягужинский, не менее изумленный, но к тому же взбешенный.

По всей вероятности, гофмаршал или не сюда шел, или шел видеть Ильиничну, но никак не думал найти Балакирева. Найдя же не того, кого хотел, при всем смущении первый нашелся.

– Так как ты, Иван, вступил по воле ее величества в бессменную службу в приемной государыни, то я требую раз и навсегда, чтобы ты был исправен в выполнении своих обязанностей. А обязанность твоя заключается в том, чтобы ты доносил мне ежедневно о лицах, принимаемых на аудиенцию ее величеством.

Чтобы ты все приносимые письменные посылки передавал женщинам в следующую комнату, а сам в опочивальню не входил. Чтобы, получив письмо, спрашивал, от кого оно, и докладывал об этом. Но ты не обязан ни с кем из приходящих вступать в объяснения. За малейшее опущение в чем-либо из перечисленных теперь твоих обязанностей я строго взыщу. Государыня непременно хочет, чтоб ее воля исполнялась буквально, несмотря ни на какое лицо. Если же в чем противно поступишь, не жалуйся.

– Все, что мне когда бы ни было поручалось, я твердо помнил и исполнял, кажется, так что не заслуживал выговоров, – почтительно, но твердо и с сознанием своей правоты ответил, кланяясь, Балакирев.

Павел Иванович, хотя посмотрел на новопожалованного слугу государыни по-прежнему неблагоприятно, но, уже понизив тон, отдал последний приказ:

– Главное, мой милый, мне аккуратнo доноси об удостоенных аудиенции...

Затем Ягужинский, не желая, должно быть, слышать о неудобствах выполнения этого своего приказанья, поспешно оборотился и направился к лестнице.

– Отлучаться, сами изволите знать, мне нельзя, – заговорил Иван, но этого, вероятно, не расслышал гофмаршал.

III. Новое знакомство

В новом преображенском мундире прапорщика Иван Алексеевич Балакирев сидел в приемной ее величества. Приходили с письмом от светлейшей княгини. Письмо Иван взял и подал ее величеству, да по приказу государыни распечатал и прочел. Выслушав и выразумев смысл грамотки, велено было передать посланному, что ее величество соизволяет, чтобы светлейшая княгиня пожаловала и привезла старшую княжну – прокатиться с их высочествами в санях.

Передав ответ, Балакирев стал спрашивать посланного, провожая его до дверей, про Шульца, управляющего: здоров ли, была ли свадьба у дочери его и где зять пристроен?

– В канцелярии светлейшего, известно... протоколист по военной коллегии, годный человек... смыслит дела...

– Как прозывается-то? – полюбопытствовал Иван. – Дитрихс... из курляндчиков. Да никак он сам сюда идет и ведет с собою еще какого-то молодца, бравый из себя... и коренаст довольно.

– Да... Он, кажись...

Договорить не удалось, как распахнулась дверь и в переднюю вступили двое молодых людей, довольно статных и пригожих из себя.

Посланный из дома светлейшего поклонился, и ему ответили поклоном.

– Не знаете ли, – спросил Дитрихс княжеского посланного по-немецки, – к кому здесь следует обратиться, чтобы рекомендовать его честь господина камер-юнкера, приехавшего с чрезвычайным поручением к ее императорскому величеству от ее высочества светлейшей герцогини Курляндской?

– Чрезвычайные поручения передаются через посредство иностранной коллегии, – ответил по-немецки же Балакирев.

– Позвольте, благо вы разумеете по-нашему, вам высказать особенные побуждения герцогини писать государыне, – обратился к Балакиреву камер-юнкер. – Уделите мне две-три минуты внимания, и вы поймете, что коллегии иностранных дел этих интимных излияний доверять не следует. Усердие чиновников ничего не усмотрит из родственной формы обращения к душе и сердцу императрицы признательной ее племянницы... А государыня умеет тонко определять, не по формальным фразам, выражения преданности, теплоту чувства и доверие герцогини к неуклонной правоте и святому беспристрастию ее величества. Эти чувства дали ее высочеству смелость просить ее величество допустить меня, преданнейшего из рабов ее высочества, до личной аудиенции, без свидетелей, где бы я мог высказать, что мне повелено и что ни в каком случае не должно быть передаваемо кому бы ни было, кроме ее величества... Бумаге доверить этого нельзя... Понимаете?

Выслушав эту тираду, Иван Балакирев не шутя призадумался. Как быть? Рассудок и сердце подсказывали, что камер-юнкеру необходима секретная аудиенция, но останавливал личный запрет Павла Ивановича Ягужинского: не смей позволять себе вступать с ее величеством ни в какой разговор и не пытаться что-либо добавлять дальше подачи принесенного письма, произнося только имя приславшего. Наказано было даже, передав женщине в следующей комнате письмо, немедленно поворачиваться и уходить, не выжидая ни одного мгновения. Если бы последовало монаршее повеление, то ее величество изволило бы выслать свою женщину или приказать, чтобы прапорщик лейб-гвардии вошел. Такова неизменная воля ее величества, желающей, чтобы ее как можно меньше тревожили и не прерывали докладом ее августейшую думу.

Видя Балакирева, предавшегося раздумью, Дитрихс и курляндский камер-юнкер переглянулись. Первый легонько взял за обшлаг Балакирева и, приподнявшись к уху его, прошептал по-немецки:

– Не медлите, камрад, благодарность будет – верная... господин камер-юнкер боится, что приезд его сюда будет замечен и, чего доброго, случай немедленно видеть ее величество будет потерян из-за одного вашего промедления...

– Господин Дитрихс, – сказал ему громко Балакирев, – промедление, вами замечаемое, не более как невозможность с моей стороны выполнить требование господина камер-юнкера. Подав письмо, хотя это мне и запрещено, я выполню все, что желал бы господин камер-юнкер... Но вы хотите, чтобы в прибавок к передаче письма я доложил и о просьбе камер-юнкера: представиться ее величеству немедленно, для личного сообщения воли ее высочества герцогини Курляндской? Не так ли?

– Точно так, – ответил камер-юнкер.

– Вот этого я сделать не смогу имея строгий наказ от господина обер-гофмаршала.

– Но... может быть, вы, мейнгер⁸, не так понимаете данный вам наказ? – с живостью спросил, подступив к Балакиреву, камер-юнкер.

– Нет... Совершенно так, как я вам докладываю... Мне указана обязанность подавать письма (и то от одних здешних особ, не принимая ни одного, привезенного помимо почты). И, подав письмо, произнести: от такого-то или от такой-то... Затем, добавив: посланный дожидается, самому немедленно уходить. В настоящем же случае я не знаю, могу ли я доложить ее величеству о том, что письмо это привезено на имя государыни от царевны Анны Ивановны? Оно ведь, как я сказал, должно быть передано в коллегию, и оттуда уже его привезет курьер или передаст мне тамошний рассыльный.

– Мой любезный господин! Вы окажете величайшую услугу ее высочеству герцогине, если возьмете здесь от меня письмо и прямо передадите... Ее величество наверное не прогневается на вас за это отступление от буквы закона... Сущность его от того нисколько не изменится, и вам не будет высказано неудовольствия.

– Не смею, – отвечал Балакирев и остановился снова в раздумье. Дитрихс, взглянув на задумчивого Ивана, что-то сказал на ухо камер-юнкеру, а тот, вынув из кармана куверт, вложил его в руку царского слуги, сделавшего недовольное движение в сторону.

– Не могу брать, сказано вам, – возвращая куверт, молвил Балакирев, оправившись.

Камер-юнкер с поклонами стал подаваться назад и лишь глазами выражал свою горячую просьбу. Балакирев остановился и снова погрузился в раздумье. Ему припомнились сказанные государынею накануне слова, что ее величество из всех племянниц больше всего расположена к Анне Ивановне. При таких чувствах, питаемых к ее высочеству государынею, может быть, ей и будет приятно письмо от герцогини? Да, может быть, она и ожидает семейного сообщения по какому-нибудь делу, ей лично доверенному, чего коллегии и вправду знать не следует?

Но эти мысли, придя в голову Ивану, еще более усилили в нем решимость: принимать не велено деловые бумаги, а если это не деловое и такого сорта письмо, за которое спасибо скажут, что принял, а не отослал?

Под влиянием этой мысли Балакирев спросил камер-юнкера:

– Уверены ли вы, однако, что это прямо к государыне следует?

– Да как же... Если ее высочество решительно отдала мне повеление доставить его, даже лично, государыне... и повторить, без свидетелей, наказанное мне передать одной ее величеству.

– Последнее немыслимо... Вы знаете, что удостоить личной аудиенции зависит вполне от расположения государыни. Я могу передать, пожалуй, только письмо. А если спросят, как оно сюда попало, я должен буду сказать – сославшись на вас, господин Дитрихс, – что мне именно говорено: что это родственное, а не деловое сообщение ее высочества.

Дитрихс наклонением головы подтвердил точность услышанного.

⁸ *Meiniger* – господин (от нем. *mein* Here).

Балакирев оставил обоих немцев, вступив во внутренний коридор и тщательно притворив за собою дверь.

Никого не было ни в коридоре, ни в двух первых комнатах ее величества. Постояв в первой из них и не слыша никакого звука вокруг, Балакирев подумал, что никого нет... Государыня вышла, может быть, к цесаревнам; а женщины ее величества – по своим комнатам. Последнее было и действительно так. Считая апартамент государыни пустым, Балакирев влетел в опочивальню, и ноги его как бы примерзли к полу. Государыня лежала в шлафроке на диване и прямо смотрела на вошедшего.

Видя смятение, овладевшее верным слугой, ее величество тихо сказала ему:

– Там никого нет?

– Н-нет! – едва вымолвил Балакирев, пересиливая свое смятение.

– Что же ты, голубчик, так переполошился? – милостиво обратилась монархиня, желая ободрить растерявшегося.

– Ваше величество, простите мою оплошность... что я осмелился войти... все тихо... никого нет... Вот письмо к вашему величеству... посланный умолял немедленно передать. Как ему наказано...

– От кого? – кротко спросила ее величество.

– От государыни царевны и герцогини Курляндской, Анны Ивановны.

– Что же она пишет? Садись, читай.

– Может, писано тут, ваше величество, что-либо, что нашему брату не след знать? – почтительно доложил Иван Балакирев, не приступая к вскрытию куверта.

– Ты верность мне доказал. Тайна, если бы и была, тебе может быть доверена без опаски. Ты не предашь меня, не правда ли? Да с царевною у нас нет особенных тайн.

Иван все еще держал куверт в руках. Государыня сломила печать сама, вынула из куверта письмо, развернула его и, подавая, взяла за руку Балакирева и усадила на табурет, примолвив для одобрения:

– Оправься же и будь покоен. Я тебя ни на кого не променяю.

Балакирев сел и начал читать:

– «Всемиловитая государыня матушка-тетушка. Уведомляю ваше величество, что по милости Всевышнего, получив скорбное известие о кончине государя батюшки-дядюшки, во-первых, оплакала я сию слезную потерю нашу, но утешаюсь, что Бог оставляет нам неключимым на радость и во утешение Ваше императорское величество. Соизвольте, государыня матушка-тетушка, покорную вашу племянницу Анну восприять в вашу неременную милость и щадение, продолжая вашу милость неизменно к почтительнейшей служнице вашей. Не откажите, премилостивая государыня-тетушка, выслушать от нашего камер-юнкера Ивана Эрнста Бирона те словеса, кои мы наказали ему одной вам, милостивейшая государыня матушка-тетушка, пересказать устно. И не откажитесь принять материнское участие в том деле, которое вы от него, нашего камер-юнкера, услышать изволите, и вспомогите, родственно и дружелюбно, елико вам Господь Бог на душу положит...»

– Тут что-то есть особенное, – промолвила про себя Екатерина. – Почему племянница не писала, а на словах хочет, чтоб нам передали?! Да и кто такой этот посланец?

– Камер-юнкер, ваше величество, здесь... в приемной. Прикажете позвать?

– Как ты думаешь? Тут не жалоба кроется на кого-нибудь из близких к нам? Аннушка все жалуется на Бестужева. А я не могу терпеть этих жалоб через третье лицо... по поводу бог знает откуда переданных слухов.

И государыня, под впечатлением пробужденного негодования, не шутя начала было волноваться, подразумевая в сообщении смысл очень далекий от того, который желала передать ей герцогиня Курляндская чрез своего посланного. Балакирев, понимая, что возбужденное неприятное чувство может расстроить добрую и благорасположенную ко всем государыню,

осмелился доложить, что в прочитанном по повелению ее величества письме герцогини, скорее всего, намек на обстоятельство очень суптильное, которое касается самой царевны-вдовы. Иначе не стала бы она передавать его с очей на очи, только ее императорскому величеству.

– Какое же, ты думаешь, суптильное... обстоятельство то? – милостиво спросила государыня. – И насчет чего?. Привязанности какой или союза разве с кем? – в раздумье, вслух, молвила государыня, еще переспросив Балакирева: – Посланец-то племянницын каков из себя? Приличен?

– Да, ваше величество, учтивый, как следует... курляндчики эти кавалеры изрядные, и, как видно, посланец в милости у ее высочества находится, коли доверено словесно высказать... такое дело.

Любопытство ее величества было сильно затронуто объяснением Балакирева, и, подумав еще, она сказала:

– Введи этого посланца царевны и будь при мне. Я потом спрошу, если что не совсем пойму. Только опусти занавеску.

Балакирев опустил занавес и, тщательно обдернув боковые складки, еще раз посмотрел, отойдя к дверям, не может ли быть видно что-нибудь между складками, сбоку. Успокоенный и на этот счет, он вошел в приемную и кивком головы дал знать камер-юнкеру следовать за собою. Введя его во внутренний коридор, Балакирев тихонько сказал камер-юнкеру по-немецки:

– Когда я вас введу и поставлю пред занавесью, вы знайте, что за занавесью находится государыня, письмо ваше уже передано и что писано – ее величество знает... Вы войдите, станьте и говорите... А если что государыня спросит, отвечайте, но не подходите близко.

– Очень благодарен за наставление. Но как же, государыню я должен видеть? И вы будете слышать мои слова?

– Да... Такова воля ее величества, и вы не настаивайте на изменении этого решения.

– Но что же я скажу ее высочеству, если спросить изволит: какое действие возымело мною высказанное... недовольство или...

– Я вас понимаю... и могу, если вы пожелаете узнать, как принято. После аудиенции подождите несколько времени и узнаете, что последует... можно будет сделать вас участником тайны; я не скрою, а искренно отвечу правду.

Камер-юнкер пожал с признательностью руку Балакиреву и прошептал:

– Я вполне полагаюсь на вашу доброту и искренность.

Сделав еще несколько шагов, Балакирев ввел камер-юнкера в опочивальню ее величества и сказал:

– Ваше величество, камер-юнкер царевны Анны Ивановны во исполнение воли ее высочества имеет передать изустно поручение.

– Пусть говорит, мы выслушаем, – сказала по-немецки государыня из-за занавески. – Здорова наша племянница?

– Не совсем... У ее высочества болит нога, и врачи не позволяют выходить из комнаты. Это и помешало ее высочеству быть здесь теперь, чтобы отдать последний долг в Бозе почившему государю, супругу вашего величества.

– Как же у ней болит нога? – с участием спросила государыня.

– Нарыв на ступне, ваше величество. Когда я уехал, врач ее высочества ожидал уже облегчения, но несколько дней были очень болезненны... ее высочество лишилась сна и чувствовала лихорадочные припадки.

– Очень жаль. Что же нам племянница не написала это? Тут, я полагаю, нет большой тайны, и огласка не может быть вредна настолько, чтобы искать устной передачи.

– Устные сообщения вашему величеству поручено мне сделать не насчет недуга светлейшей нашей герцогини, а насчет обстоятельств, касающихся предложений, делаемых ее высо-

честву... и на которые... светлейшая повелительница наша еще не изволила дать какой-либо решительный ответ, не узнав милостивого, родственного изъявления благосклонного мнения вашего величества.

– А-а! Сделаны предложения... насчет...

– Союза ее высочества с светлейшим графом Морицем Саксонским. Его светлость ее высочеству может показаться не противным, если ваше императорское величество соизволит удостоить подобные предложения одобрением. А ее высочество всемилостивая наша повелительница, находясь в таких еще летах, когда новый союз, позволено надеяться, может оказаться и благоплодным и... усладить может скорбные дни ее высочества... тем более что светлейший граф, по связям своим родственным, принадлежит к династии, от которой всего более зависеть может упрочить благосостояние герцогства... введение умиротворяющих конъюнктур в непокойное сословие дворян... словом, ожидать может и в правительственном отношении облегчение для ее высочества забот, неразлучных с долгом государыни и правами ее высочества на общую преданность и сочувствие. Союз с светлейшим графом обещает все это... конечно, если ваше величество соизволите обнадежить всепочтительнейшего докладчика в сохранении тайны о переданном из прямого усердия и преданности к особе вашего величества и к милостивейшей повелительнице нашей.

– Будь покоен, тайна останется выслушанною, без передачи кому бы ни было... а наш слуга, доверенный, – нам предан вполне. – Произнося последние слова, голос ее величества получил трогательную теплоту и оживление искренности.

Камер-юнкер еще раз поклонился и продолжал:

– Союз с светлейшим графом, если взирать на него, измеряя настоящие затруднения ее высочества при управлении страной, где дворянство своевольно и чрезвычайно проникнуто своими правами... союз, смею доложить, не может не считаться невыгодным, а тем менее еще не одобренным благоразумием... Но, ваше величество, ее высочество иметь изволит свои, возможно и многозначачие для чувства и привычек повелительницы нашей, отношения к среде окружающих особ. Эти отношения, несомненно, могут измениться не без чувствительно-болезненных ощущений для любвеобильного и милосердного расположения ее высочества. Так что союз с графом Морицем, хотя и заслуживает предпочтения перед другими, имеет, однако, и свои неудобства. Соизволяя принять предложение, повелительница наша надеется на душевную силу и могущество своей воли, способной поддержать ее высочество в принимаемой высокой роли. Если бы не существовало некоторых неблагоприятных условий и обстоятельств, ее высочество, конечно, не желала бы изменения своего независимого положения, хотя и неразлучного с одиночеством и своего рода огорчениями. Потеря супруга, без сомнения, была тягостна для безутешной юной вдовицы, но время всеисцеляющее и эту горькую участь успело по возможности усладить преданностью искренних почтительнейших рабов нашей всемилостивейшей государыни. Так что ожидание перемены в положении ее высочества, при заключении нового союза, одобряемого рассудком, представляется смелым шагом, и страшно впасть в ошибку в расчетах, основанных на вероятностях. Эти соображения и сомнение в возможности полного осуществления приятных отношений, сулящих прочное благосостояние и покой ее высочеству, – в заключении союза с графом Морицем – заставили повелительницу мою доверить вашему величеству свои надежды и опасения и просить родственного душевного совета. Мудрость и любвеобильное теплое чувство вашего императорского величества известны давно уже ее высочеству, и на них прежде всего и больше всего светлейшая герцогиня рассчитывает, доводя до сведения вашего величества о своем настоящем положении... своих опасениях и принуждении сердца и чувства.

Произнося последние слова, камер-юнкер еще раз поклонился. Настало молчание, которое государыня, погрузившись в думу, не собиралась, казалось, прервать.

Балакирев сделал глазами знак камер-юнкеру, чтобы он удалился, но тот стоял словно не замечая ничего и как бы упорствуя в желании добиться личного ответа. Но его, как чувствовал чуткий слуга государыни, не могло последовать.

Прошло более четверти часа напряженного смущения, становившегося для участников этой сцены с каждым мгновением более и более затруднительным. Иван решился покончить это неловкое положение, взял под руку посланца герцогини и повел его к приемной.

– Поди сюда, Иван! – раздался голос государыни, очевидно наблюдавшей, не быв видимою, за выражением на лицах посланца и своего верного слуги.

Балакирев ловко приподнял и опустил занавес, прежде чем глаза камер-юнкера могли что-либо увидеть, и предстал пред очи монархини, указавшей, чтобы он сел на табурет. Взгляд верного слуги в то же время дал понять, что посланец не вышел.

– Я передам потом мою волю, можешь идти, – молвила государыня докладчику герцогини, и он поспешил воротиться в приемную.

– Я подозреваю, – начала вполголоса Екатерина, обращаясь к своему слуге, – что этому человеку наказано было передать не совсем то, что мы слышали. Не можешь ли ты разузнать поближе, кто он таков и какие побуждения тут скрываются? Как он близок к племяннице и кто сватает ей жениха? Сделай это так, однако, чтобы никто не узнал, что я это хочу знать. После скажу, для чего это...

Балакирев поклонился и поцеловал милостиво протянутую монаршую руку.

Поручение, данное теперь Екатериной, выказывая полную ее доверенность к нему, в то же время ставило его в такое положение, из которого, даже с помощью всей своей изворотливости, Иван не рассчитывал выйти с честью.

Оставив опочивальню государыни, Балакирев невольно замедлил шаг, задавая себе вопрос: с чего начать приступ к делу, чтобы не промахнуться?

Первая попалась ему навстречу Ильинична. Ей, недолго думая, и задал вопрос Иван Алексеевич:

– Авдотья Ильинична, есть у вас знакомые во дворах у князя Никиты Волконского или Бестужевых?

– Есть, конечно. Да кого тебе?

– Человека бы такого, который про митавское житьецо мусил.

– А что такое тебе требуется? Прямо говори.

– Да вот государыня велела узнать скорей: кто таков этот самый камер-юнкер, которого сейчас я представлял ей от царевны Анны Ивановны. И наша мать заприметила, что слова его будто с подвохом; да и мне сдавалось, как он загудорил, что, чего доброго, не то бает, что наказано. Оно будет понятно, как дознаемся, что за птица такая. А птичка не простая, с полету видна... и, может, не без закавык... Отвод глаз тоже смекает, не хуже кого другого. Все, сдается, не впрямь, а вкось норовит... то же, да не так выговаривает... И на близких упирает, и жениха словно не хает, да нет-нет и проговорится, что, коли б отъехал ни с чем, разлюбезное дело бы было...

– Да ты, Ваня, может, сам, не вслушавшись, это говоришь, а может, оно в чем и иначе?.. Конечно... и то сказать... Вдова не стара, своя воля... Замужем будучи, хотя и немецкий человек, а все муж... Сноровить ему нужно, мало ль что царевна... Да кого ж прислала-то Анна Ивановна... новый человек, что ль?

– Новый, кажись, такого не видал я при ней, как позапрошлый год была здесь ее высочество. Другие были, да набольший Петр Бестужев; знаю... у него дом здесь... сыновья в службе... где-то посольства правят никак... А дочь-то, Аграфена Петровна, за князем Никитой Волконским; из себя такая здоровенная и далеко не глупа... в родню пошла свою, не в пример мужниной, простякам. Вот при этой самой барыньке нет ли у тебя кого из людей тол-

ковых, с ней живших в Митаве? Ведь помню, как в Ригу мы ездили, и в Митаве я был, она у отца в ту пору жила, и государыня ее жаловать изволила.

– Знаем княгиню Аграфену Петровну, и она нас знает довольно... и у ней нужно прямо спросить. Когда же надоть это самое?

– Да чем скорее, тем лучше. Сегодня бы, к примеру сказать, вот бы скатала ты к княгине не откладывая да выпросила бы... истинно бы оказала мне родственную поддержку. И я бы тебе, что понадобится, ответить мог, коли что повелишь; да – можем...

– Почему не так, паря? Съезжу. Что сказал – не запомню. Только надоумь: какой бы предлог изобрести к ней явиться?.. Чтобы невдомек... Наша не любит, чтобы прямо, без нужды, ее назвать да упираться, что она сама велела узнать.

– Разумеется... так подъехать нужно, чтобы про того, о ком желается разузнать, помину не было. Да как не придумать; вот дай срок... тряхнем мозгами... покалякаем потом; дай спроводить курляндца спервоначалу из передней. Да, знаешь, вот сейчас еще мне кое-что пришло в голову. Авось ловчее подведем турысы к кому следует – дай срок... Повыудим мало-помалу окуньков попрежде у своего бережку.

И сам направился к затворенной двери в переднюю. Там сидел, уже без Дитрихса, камер-юнкер царевны Анны, и ему на ухо нашептывал что-то Лакоста на своем ломаном жаргоне, мало понятном для непривычного уха.

От этого рода сообщений лицо камер-юнкера выражало страшное напряжение и любопытство.

Появление Балакирева прекратило повествование или внушения Лакосты, к явному его неудовольствию, так как ему пришлось не только остановиться в начале рассказа, но и уйти по знаку Балакирева, указавшего ему на дверь, и он не успел предупредить Бирона, когда и где он может снова увидеться с ним.

Когда Лакоста исчез, Балакирев подошел к двери, за которою тот скрылся, и внезапно распахнул ее, думая, не притаился ли он тут же, для подслушивания. Затем Иван дошел до другой двери, сквозь которую можно еще было пройти на половину цесаревен, и запер ее на ключ. Это же сделал, возвратившись к Бирону, и с дверью из передней. Тогда, усадив его к окну и сам сев против него, он сказал весело, прямо смотря ему в глаза:

– Велено мне изготовить ответ государыне царевне Анне Ивановне. Напишите вы его так, как желали бы видеть решение ее величества...

– И вы позволите? – почти вскрикнул камер-юнкер с особенным оживлением, показавшим всю неожиданность подобного предложения, на которое он не смел и рассчитывать. Улыбка самодовольствия, прикрываемого полнейшим расположением, осветила умные черты Ивана Балакирева. Он надеялся, что из ответа камер-юнкера видно будет, чего тот желает, если в письме его окажется разница с тем, что он говорил императрице, то истинные цели его легко можно угадать. Бирону, конечно, такое предложение не могло представляться подобного рода испытанием его мыслей. Камер-юнкер, ничего не подозревая, просто отнес это поручение к желанию Балакирева получить с него хорошую взятку, как дельвали обыкновенно с немцами. И он сам в подобном положении ничего не сделал бы без тяжеловесной благодарности. Мало того, у Бирона, вслед за возбуждением предательской радости, родилось еще желание поторговаться с простяком, прежде чем отсчитать ему червонцы. При этом, думал он, следует пустить в ход, в свою очередь, и изумление как бы, если напомним слуга царицын о взносе. А затем уже, идя на уступки, думал камер-юнкер, мы рассыплемся в уверении, что поступили подобным образом только из желания услужить государыне. Он, вероятно получив поручение составить ответ, недостаточно к нему подготовлен? Тогда, понятно, самая работа наша могла сделаться для него источником хлопот, затруднений и еще риска, пожалуй, – заслужить немилость неудачною стряпнею!

– Я напишу вам как можно проще, – молвил Бирон. – Но не беспокойтесь, я постараюсь все так обстоятельно изложить, что впасть в ошибку при переписке вам решительно будет нельзя.

Говоря с таким апломбом, Бирон смотрел на Балакирева, конечно, свысока. А тот из тона сказанного еще больше убеждался в ограниченности его ума.

– Очень буду благодарен. Конечно, где же понять мне, новому человеку, все посольские извороты вашей немецкой речи? Только, господин камер-юнкер, об одном смею просить, потопрорпиться. Чего доброго, завтра потребуют, и что я тогда? Конечно, помню я кое-что из ваших слов и в случае крайности что-нибудь написать могу, но коли бы вы сами, дело бы чище и лучше вышло.

– Может ли быть какое сравнение между работою вашей и человека, как я, выросшего между дипломатами? – прихвастнул Бирон и смерил надменным взглядом слугу царицы. Тот, в свою очередь, тоже смотрел на него, прищурившись и с усилием удерживаясь от смеха.

«Сем-ка, – думает Иван, – запустить разве ему еще загогулину, да пощупать с той стороны, которая еще больше на руку нам... Авось и того не разберет?» Помолчал-помолчал, да и брякнул:

– А что, смею спросить, вы, батюшка, имеете надежного приятеля или родственника при дворе царевны Анны Ивановны, кто бы вас уведомить мог или поддержать, при случае когда вороги станут пытаться вас оттереть?

Бирон вздрогнул невольно при этом напоминании и вытаращил на Балакирева свои большие глаза, как бы желая на лице его вычитать: как он успел проникнуть в тайну души его? А именно – заговорить о принятии мер для предотвращения опасности, могшей последовать, пока его нет в Митаве. Не далее, как, идя во дворец, Бирон поверял Дитрихсу свои опасения, чтобы Бестужеву не удалось теперь подставить ему ножку. Не отвечая на вопрос Балакирева, приведенный в смятение им, Бирон продолжал смотреть на Ивана со страхом, похожим на суеверный ужас человека, верящего в колдовство, при рассказе о действиях оборотней.

Заметив ужас на лице камер-юнкера, Балакирев понял, что недалекий хвастун действительно теперь находится в случае и боится сильных врагов. «С этой стороны для нас довольно, – решил про себя Ваня. – Попробуем-ка узнать, каков его случай». И, помолчав еще, Ваня начал разговор как бы сам с собою, вслух, забывшись...

– Царевна Анна Ивановна – государыня взыскательная. На нее трудно потрафить... И то не так, и другое не ладно. Иное дело как особа величественная и умом, и станом, и сладкою речью довольна, и повадки самые важные, и нравом угодить успели... тогда, разумеется, отсутствие заметно... Слушать других скучнее бывает; не в лад они и слово молвят. Приятства такого нет. Сравнение само собою придет в мысли, этот и этот наскучат, такого-то приятнее нам видеть и послушать отрадно... и вздохнется, как еще нет налицо... С тоски без него пропадешь... скажет сама с собою, да и напишет: будь скорее!

Говоря эти слова, Ваня посматривал искоса, неприметно, на лицо молчаливого Бирона, то вспыхивавшее ярким румянцем, то терявшее краску. Такая же перемена была заметна и в глазах его, которые то тускнели, то сверкали при проявлении румянца. Уста Бирона начали наконец раскрываться сами собою, как бы порываясь заговорить, но он не знал, с чего начать разговор. Заметив это, Балакирев предупредил его вопросом:

– А смею спросить, вы долго думаете у нас пробывать?

Новое смятение на лице камер-юнкера и несвязный ответ:

– Долго, я думаю... хотел бы монархине вашей удосужиться представить мою преданность. Где ни служить – все равно, не правда ли? Лишь бы ценили преданность. Скажите... прошу только быть искренним, обращаясь к вам как друг: у вас ничего не слышно о какой-либо партии... которую намерена сделать ее величество?.. Наша герцогиня, знаете, воли не имеет

ни в чем. За нею сотни глаз... А ваша... сама повелительница своих действий. Благообразна и не в таких летах, чтобы не могла увлечься... поручиться, сами знаете, трудно!

– Ее высочество герцогиня Анна Ивановна еще моложе... десять лет, сударь мой, не шутка! У ее величества свадьба дочери на руках... Другая – впереди... Вдовство недавнее еще. Так что не трудно вам ответить, что у нас ничего не слышно, да и трудно слышать. Ничего, правду сказать, и не замечаем. А набирать разве могут во двор к герцогу Голштинскому? Там немцы всеконечно... и вам нужно бы пристроиться... да только там своих – пруд пруди!.. и уже, кажись, набрали едва ли не полный комплект. Да вам незачем покуда и переменять, полагать надо, службу? Где вы вдруг удостоитесь такой великой поверенности? Прошлого расположение воротить – в случае даже утраты – легче, чем приобрести новое.

Еще раз вздрогнул Бирон при метком намеке Балакирева, и Ваня решил в уме своем, что пытаться его покуда нечего. Подробности ничего не прибавят к главному, а оно им отгадано! Насчет же того, что намерен человек предпринять, – даст ответ немецкая отповедь его царевне для переписки по-русски!

Посидев еще несколько минут молча, смотря в окошко и бросая на Бирона (крепко озадаченного всем услышанным от царицына слуги), Ваня встал и извинился, что ему пора идти к государыне за приказаниями.

Бирон очень сочувственно, если не сказать даже с подобострастием, пожал руку Балакирева.

Теперь он вырос для него до чудовищных размеров, и камер-юнкер стал соображать, нельзя ли будет заручиться дальнейшим содействием Ивана. В предложении его написать ответ герцогине Курляндской он видел личное сочувствие Балакирева, которым должно было пользоваться не теряя времени. Теперь дело стояло, так сказать, за ним самим.

– Чем скорее принесется ответ, тем лучше! – сказал он. – Это не ослаблять следует, а усиливать, чтобы получить поддержку. – И эти две мысли, заменяясь одна другою, заняли вполне ум вышедшего из дворца камер-юнкера.

IV. Шпионы

Балакирев, выпроводив Бирона, пришел в комнату Ильиничны.

Ее не было, но голос ее слышался где-то по соседству, то прерываясь и переходя в полупшепот, то возвышаясь и принимая тон горячего оживления.

Иван вслушивается в эту трескотню внимательнее, и ему удастся отличить нередкое повторение своего имени.

«К чему бы такому я понадобился Авдотье Ильиничне? – думает он. – И с кем это она перемывает косточки, поминая, никак, меня, грешного? – Говор приметно близится, и вот уже яснее слышна, от слова до слова, частая речь Ильиничны. – Это с Анисьей Кирилловной», – прошептал, отличив другой голос, Ваня.

– Не говори мне больше про этого тихоню! – кричит Ильинична. – Воды не замутит, а сводки сводить – куда горазд. Все слушает, молчит что истукан какой... дурака корчит, а сам себе на уме. Все переводит. Да про кого еще и кому? Про матушку нашу паскудным тварям... все ехидство свое – аль не видишь? – не оставляют. Только с другой стороны вести принялись подкопы под нас... только бы им оттереть нас, чтобы самим в руки забрать и ее, и вас всех. А вы, глупенькие, и в толк взять не хотите, что сегодня нас ототрут, завтра – вас! А послезавтра своих наставят и начнут творить все, что им угодно. А вы уши развесили, что это Иродово племя, шут непутный, на меня вам с умыслом окоlesiцу несет. Что ему стоит из своей чертовой головищи выбрать что ни есть попричиннее клевету? Не в том сила, чтобы ее доказать, а чтобы сомнение навести да грязью своей замарать. А сам он предатель ведомый. Монса предал, Балакирева предал. Матушку продал... Светлейшего продал. Везде, пролаз, путь нашел! Нет уж, не хочу ничего больше ждать. Сама пойду к Андрею Ивановичу и слезно буду молить, чтоб шуту проклятому язычишко поганый повытянул да поукоротил, чтобы он...

– О чем вы кричите так, паскудные бабы? Я только задремала... так нет чтобы дать мне покой – принялись орать. Я вас ужо! – раздался гневный окрик государыни.

– Ваше величество, не осмелилась бы я возвысить голоса, коли бы дело шло про мои делишки, а то – отпусти, государыня матушка, вину мою невольную – по горячности, что не выдержала, высказала Анисье Кирилловне правду-матку насчет дела вашего береженья... Тут паскудный Лакоста, предатель, взводит на ваших верных слуг заведомые лжи, с тем чтобы прикрывать свое воровство. Попался он мне не пять, не десять раз, в подслушивание того, что говорите у себя... Выслушивает это все и передает, мерзавец, Чернышихе, что под тебя, государыня, сами вы известны, как в недавнее время, при покойнике, подрывалась и клеветы возносила. И направила она, пакостница, с Ягужинским Павлушкой донос на Монса несчастного... А вы, государыня, досель эту пакость терпите и жалуете и извести не повелите такую гадину, как шут, например... А Анисья Кирилловна его словам веру дает и мне выговаривает, зачем, дескать, неладно молвила. Коли я, государыня, не токмо ничего не молвила, а просто сказать, вот те Христос, и во сне не грезил, что он лгун, на меня взводит. А причина известная: надо ему что ни на есть измыслить, из боязни, что я терпеть не буду, а выскажу, как ловлю его на шпионстве. Притаится, гадина, в темном углу, за дверью; и не видно его, а он целые часы простоять может и все выслушивает, что ваше величество, у себя...

– Замолчи... довольно! Анисья Кирилловна, не мешайся не в свое дело. А с Лакостой я велю расправиться Ушакову, пусть допытается, для кого он за нами шпионит. Тут кроются скверности! И если обнаружатся какие-нибудь из твоих свойственников, Анисья Кирилловна, я подумаю, что и ты с ними заодно, коли заступаешься за шпиона.

Гнев государыни проявился теперь в такой силе, что Анисья Кирилловна хотела уйти, давая державному гневу уходить. Вышло противное: гнев Екатерины I получил новую пищу, переменив направление. В уме государыни возникло мгновенное подозрение, что девица Тол-

стая, преданность которой ей была уже давно вполне известна, уходит, чтобы предупредить сторонников о предстоящем допросе Лакосты. Государыня сильным движением руки остановила свою любимую спутницу в разъездах и постоянного секретаря, едва произнеся в ярости:

– Куда? Шашни, видно, раскрываются? Так надо дать знать, что я велю за шута приняться!

Анисья Кирилловна опустилась на колени и зарыдала от обиды. Горе в эту минуту заставило девицу Толстую все забыть, предавшись неудержимой скорби. Слезы на Екатерину Алексеевну всегда производили сильное действие, и этот поток слез с громким всхлипыванием скорее, чем можно было ожидать по силе гнева, переменил его на милость и даже – чуть не на нежность к старому другу. Государыня положила обе руки свои на плечи Анисьи Кирилловны и сама склонила голову к плечу ее, успокаивая ее.

Не скоро, однако, успокоилась и при таком искреннем проявлении сочувствия девица Толстая. А успокоившись, она прежде всего высказала, что хотела уйти, заметив гнев ее величества, не считая своевременным оправдываться и думая выждать время в своей комнате.

– Вы знаете, дальше вашего дома мне и уходить некуда, – закончила она свою речь, целуя милостиво протянутую ей руку монархини.

– Однако согласись, Анисья Кирилловна, – оправдывая свой справедливый пыл, спокойно теперь говорила государыня, – не могу же я быть хладнокровной, услышав такие вещи от Ильиничны!.. И ты и она, я знаю, мне одинаково преданы. За эту преданность я и спускаю Ильиничне подчас и дерзкие слова. Любовь ко мне, как и теперь, заставляет ее высказывать, что я, по рассеянности и доброте своей, не замечаю врагов, а они не унимаются, все шипят втихомолку. Клеветы плетут... подметные письма пускают в народ... Подслушивать без дела ведь не станет же человек? И где подслушивать?.. Что у меня делается и говорится?! Лгун Лакоста всегда был... клеветал мне на женщин моих... на Ильиничну особенно, не раз... сколько я помню. Да и на тебя доводил мне, кажись, что ты бываешь у Петра Андреича и там судишь да рядишь, как я обращаюсь со внуком... что не люблю я его и хотела бы извести. Так после таких наветов, которым я не верила и не верю, разумеется, как же ты придаешь какую бы то ни было веру словам этого мерзавца на Ильиничну?

– Я, государыня, Авдотью Ильиничну только предупреждала, что неладное взводит на нее шут. Что он подслушивает, и я, государыня, заприметила не раз. Да и сегодня еще, ваше величество, как вам докладывал Иван Балакирев про посланца Анны Ивановны, а тот один сидел в передней уже без Дитрихса, – откуда ни возьмись этот самый Лакоста; подсел к курляндцу – и ну шушукать. Пришел Иван и прогнал мерзавца. Да и дверь запер вторую – к цесаревнам на половину. Увидевши это самое, я стала говорить Авдотье Ильиничне, как этот шут теперь повадился к нам шмыгать. И откуда он, говорю, возьмется... вдруг, должно быть, подслушивает – забирается в темное место али в шкаф. Ну, где его найдешь?.. Ведь притаится, проклятый, говорю. Вот ономясь меня завидел – должно полагать, собирался подслушивать, – да я его окликнула, с лестницы он спускался потихоньку. Он ко мне: начал наговаривать на тебя, Авдотья Ильинична, то и то доводить... А она, не вслушавшись, что говорю по дружбе, а не в перевод, учала мне укоризны делать... что я ее выдаю будто... что она не такая... Ну и распелась не по разуму. А ваше величество тут и крикнули на нас.

– Прости же меня, матушка Анисья Кирилловна! Сама плачу, что между нас притча такая случилась из-за проклятого шута, – сквозь слезы ответила из коридорчика Ильинична и, не дожидаясь результата своих слов, вбежала в опочивальню государыни и рухнулась в ноги перед Анисьей Кирилловной как-то особенно быстро и неотразимо. Еще быстрее вскочила Ильинична и поверглась в ноги перед государынею, милостиво положившей ей руку на плечо со словами:

– Ну ладно, прощаю... Не кричи только так. Помирись с Анисьей Кирилловной.

Поцеловать руку государыни и наброситься с поцелуями на Толстую было для Ильиничны делом одного мгновения.

За этим действием, разумеется, последовала успокоительная развязка сцены, обещавшей поначалу грозный характер.

Как единственный результат возникшей было кутерьмы из-за шпионства шута последовало, однако, повеление государыни призванному в опочивальню Ивану Балакиреву сходить к Андрею Ивановичу Ушакову и передать волю ее величества, чтобы допросить шута Лакосту и разузнать доподлинно, для кого он шпионит. Приказ этот, заметим, отдан был Ивану государынею после того, как она отпустила от себя примиренных соперниц – Ильиничну и Кирилловну. Слезы последней, без сомнения, тронули Екатерину I и по-прежнему расположили было к ней, но припоминание слов того же Лакосты снова, по уходе старого друга, возбудило не изгладившееся совсем подозрение. «Ведь Толстые все люди тонкие! Анисья Кирилловна не выродок же в семье... Слезы у нее, чего доброго, явились и не без цели – дать другое направление мыслям моим о ней... – думала теперь государыня. – Ведь я остановила ее на бегу? Мало ли что будет она мне рассказывать в оправдание! Может, оттого долго и рюмила, что не знала, что отвечать, пока не придумала. Постой, постой, и еще припоминаю... Ильинична говорила, что застала у нее утром сегодня Петра Андреича, как и накануне. Когда обморок со мной случился за панихидой! Баба моя говорила, кажись, что Толстой выпрашивал: что и как это со мной было?»

– Иван! – раздался призыв государыни.

Балакирев мгновенно вырос в дверях опочивальни.

– Подойди ко мне ближе и давай свое ухо! – молвила государыня шепотом. Длинный Балакирев стал на колени и приблизил ухо к лицу монархини, готовясь внимать наказу, произносимому ему тихим шепотом на ухо.

– Поди к Ушакову и скажи, что я велела ему взять Лакосту и допросить обстоятельно о его шашнях. Разузнать: где он бывает и у кого? Пристрастить шута позволяю... только не очень... Он трус и все с одного страха выболтает! Ты расскажи сам что знаешь и заметил про него. Слушай же: теперь... сейчас иди... вели Андрею Иванычу принять меры не мешкая. И все, что скажет и как он тебе показался, передай мне обстоятельно... Да, еще забыла... Спроси Андрея, что он думает насчет Павла Иваныча, каков он ему кажется, и насчет Петра Андреича. И пусть мне завтра все отрапортует, что узнает. А если еще кого нужно будет ему взять к допросу... пусть. Мы позволяем – скажи! А сам приходи от Ушакова прямо к нам.

– Слушаю, ваше величество, исполню в точности, – молвил Иван, подымаясь на ноги.

Когда он исчез за дверью в сени, с половины царевны тихонько отворилась дверь мадам-Ла-Ну, гувернанткой их высочеств. Ее – верную союзницу свою, ссужаемую деньгами по первому востребованию, – Лакоста, прогнанный Балакиревым, послал разведать на половине ее величества у кого можно будет, что слышно. Сам он не смел показаться на глаза Балакиреву и ожидал, что может последовать какая-нибудь вспышка, если зародилось на его счет подозрение. А уже прямым подозрением, и ничем другим, объяснял он окрик Балакирева и то, что он прогнал его и запер двери. Промежуток времени между удалением своим и присылкою Ла-Ну (француженки, служившей орудием Лакосты) он употребил на посвящение дамы в подробности возлагаемого им на нее экстраординарного поручения. Преданной себе считал шут на половине ее величества только судницу, бабу Матрену. Она любила зашибаться хмельком и за мелкие подачки на выпивку готова была на все – даже на кражу, если бы потребовал щедрый плательщик. В ее комнате Лакоста по вечерам устраивал в потемочках надежное дежурство свое или за печкою в коридоре, за ковром, повешенным наискось, – перед выходною дверью. Одна половина этого ковра, по пути следования по коридору входящих и выходящих, разумеется, поднималась и опускалась; а другая половина, за печкою, в углублении, оставалась в покое, за ненадобностью ее отдергивать. За завесой и скрывался Лакоста как в самом удобном пункте наблюдений. Он не только слышал здесь все, что говорится в трех комнатах апартаментов

ее величества, но и то, что происходило в коридоре и на лестнице. Ему оттуда долетали даже, при тонком слухе, развитом постоянным напряжением этого органа, – звуки и сверху, с антресолей над вторым этажом, где жила Анисья Кирилловна Толстая. Ее, как особы расположенной по внушению графа Петра Андреевича Толстого в свою пользу, Лакоста, конечно, не боялся и в бытность у него кабинет-секретаря Макарова или княгини Меншиковой даже проходил в соседнее с ней помещение, где был темный уголок за шкафами. Не терпел он только Ильиничны и боялся ее рысжих глазок, открывавших не раз его подход таким образом, что нельзя было и уйти незаметно. Заметив наблюдателя, Ильинична ограничивалась только угрозой перстом; но это движение бросало в лихорадку осторожного Лакосту, и долго не приходил он в себя после каждого такого жеста Ильиничны. Она его инстинктивно ненавидела, как и он ее, взаимно.

После сцены с девицей Толстой Авдотья Ильинична еще более усилила бы свое нерасположение к шуту, если бы оно могло у нее увеличиваться. Но и без того уже раздражение на шута достигло в ней крайних пределов. При таком состоянии у ненавидящей особы пробуждается даже своего рода ясновидение, и оно помогает отгадывать иногда людей противной партии по самому незаметному для других признаку.

В то мгновение, как мадам Ла-Ну проходила коридором к суднице Матрене – за справкою о положении дел шута, – она столкнулась лицом к лицу с Ильиничной, спускавшейся с лестницы идя от себя. У лестницы было в коридоре окошко на двор, дававшее достаточно света и, заметим, единственное во всем коридоре. Ла-Ну, для отвода подозрений, держала в руке выпяленные уже прошивки гладью, порядочно загрязненные во время вышиванья в пальцах. Предлог – отдать их выстирать Матрене – был очень благовидный и не мог, казалось бы, возбудить никакого подозрения. На беду посланницы Лакосты, шут в виде любезности возвратил мадам Ла-Ну ее перстень, который был у него давно в закладе и который она не могла выкупить. Она даже отказывалась от своей любимой вещицы, заложенной лет пять назад беспутным ее супругом. Считая перстень своим, Лакоста, любивший украшать свои худые пальцы кольцами с алмазами, часто носил и вещицу, теперь переданную владелице для побуждения ее к большему усердию выполнить его поручение. Страшно памятливая и проницательная едва ли не больше самого Лакосты, Ильинична, года за два, через третьи руки приторговывала у шута перстень Ла-Ну. Теперь, увидя его на ее руке, Ильинична по перстню мгновенно поняла, что гувернантка – одно из орудий шута. Конечно, первая мысль при взгляде на перстень была еще темное подозрение; но для такой личности, как Ильинична, этого оказалось достаточно, чтобы немедленно решить наблюдать за гувернанткой. Та мелькнула в уголок к Матрене, а Ильинична обошла с другой стороны, чрез гардероб ее величества, к самой перегородке, отделявшей помещение судницы от коридорчика, и спустя две минуты лицо мамы цесаревен осветила зловещая улыбка. Она уже обладала новою нитью сношений Лакосты с государыниной половины. Шорох по ковру не был слышен, и подход Ильиничны нисколько не нарушал царствовавшей здесь тишины, в которой отчетливо отдавались слова, произнесенные шепотом двумя женщинами.

– Так нитшево после крика и не было?

– Ничего... разошлись и помирились оба врага, – разумеется, для вида... Каждая осталась при своем. Готовы опять, при случае, уколоть друг друга и наябедничать.

– А про... ничево?..

– Ильинична кричала, что пора его схватить и допросить.

– Н-ню? А на гетто ште-тя?

– Анисья Кирилловна подтвердила, что видела Петра Ивановича сегодня, и Балакирев его, говорит, прогнал на вашу, значит, половину.

– А после еште?

– Разошлись, говорю, и ничего кажись.

– А кута Ивван пошшел?

– Не знаю. И не видала, сударыня ты моя!

– Слушай... Матренишка. Ем-му после эттафа не скорро мошно стесь покайзайтсья... Ти би постлютчифала... и ффетшерком... скотил ты к Павлю Иванитшю или на Афтотя Ифановна... Понимить... Т-там татуть... типе... тостатосне...

– Почему не так? – ответила покладная Матрена, представляя для себя не без удовольствия открытие нового источника поживы.

Как ни сдерживалась Ильинична, но это неожиданное открытие взорвало ее окончательно, и она брякнула нарочно тазом, чтобы перервать беседу и спугнуть райскую птичку, проповедующую так удачно о шпионничанье и его целях.

При раздавшемся ударе по тазу французенка, положив свою вышивку, поспешно отретировалась, считая себя по совести исполнившею посольство и добившеюся надлежащего результата.

– А-а!.. – выйдя из своего тайника и смотря вслед уходившей французенки, молвила Ильинична. – Матренку нужно прямо вон.

Послушаем другого посланного и его сообщения Андрею Ивановичу, повеселевшему при появлении Балакирева в своей рабочей комнате. Туда слугу государыни заранее был отдан приказ пускать без доклада.

– Добро пожаловать. Наконец-то! Ну как, здоров? Садись-ко рядом со мной да поговорим ладком. Иванушка! Да и каким молодцом, братец ты мой, в нашем мундире! Ведь ты знаешь, что находишься прапорщиком в моей роте?! Коли бы ты другую службу нес, мне бы пришлось пожурить за неявку к командиру, а тебе, знаю, не до того. Ну, рассказывай, что там у вас?

– Да скверное дело, Андрей Иванович, завелся мерзавец – шпион... у нас! Черт его знает, для кого и для чего? Лакоста! Всюду втирается... Торчит непременно, где только есть уголок. Государыня приказала вам сказать, чтобы вы его забрали да допросились вдосталь, кому это он шпионит? Ведь подслушивает, что творится в опочивальне, что там говорит кто... Да еще наклепил на Авдотью Ильиничну Анисье Кирилловне, и промежду их распря произошла... и государыня было разгневалась, да все кончилось благополучно.

– Ну, брат, что Лакоста шпион – ты мне говоришь не новость... И кому он шпионит – я тоже знаю. Нужно бы прихватить, убравши слугу покорнейшего, и господ почтенных. Тогда мир и спокойствие будут полные, а без того что пользы, что похлещу я старого пса или почешут ему там, где он не желал бы?! Дела останутся по-старому, коли не прихватить кой-кого выше...

– Да, на этот счет, Андрей Иваныч, государыня приказала вам сказать – полная мочь вам дается... Коли кого потребуется, говорила ее величество про вас, может он взять, и мы... соизволяем...

– Этак, дружок, будет поладнее. Тут можно поусердствовать и его превосходительство Павла Иваныча попросить пожить на новой квартире. Да чтобы не скучно ему было в уединении, можно и даму пригласить... побыть по соседству... Нужно, однако, на это письменный указик! Тогда наш брат явится и поосведомится: как спали-ночевали да что во сне не видали ль?

– Ее величество повелела мне все донести: как и что вы намерены предпринять во исполнение переданной мною высочайшей воли; и чтобы вы завтра отрапортовали сами, что сделаете.

– Да коли действовать, голубчик, до завтра долго ждать. Нам нужно получить указец сегодня бы. Тогда, не теряя времени, как мы со светлейшим, к примеру сказать, накрыли сторонников царевича, – Андрей дремать не станет! А если указа не даст ее величество, пусть нашего брата в генерал-адъютанты свои пожалует, и словесные приказания, не глядя на лицо, исполнять будем. А до того нельзя нашему брату руки далеко запускать: есть, братец, особы, до которых сам коснуться покуда не могу – руки не доросли, хоть бы сильно хотелось...

– Так и прикажете донести?

– Конечно, так. Да ты погоди мало-малю. Я черкну кое-что, да вместе с тобой и пойдем, пожалуй. Да и дальше я тебя с собой же возьму как являться стану на свиданье к милым друзьям нашим.

Произнеся эти слова, Андрей Иванович Ушаков принялся писать. Воцарилось гробовое молчание. Генерал писал, потирая по временам лоб. Потом он, перечитав написанное, начинал строчить еще поспешнее. Наконец кончил, засыпал песочком, вложил написанное в сумочку, и через минуту уже оба они, Ушаков и Балакирев, шли к Зимнему дворцу по набережной.

Рысьи глаза Андрея Ивановича увидели издали человека, выбежавшего из-за угла дворца, с канала, на Неву и направившегося к спуску на лед.

– Стой! – крикнул Андрей Иванович этому человеку и бросился бежать за ним.

Балакирев последовал за генералом. Сделав шагов тридцать, они увидели, что удалявшийся вначале как будто остановился и нагнулся, должно быть, наклонив голову, так что из-за епанчи стало не видно шляпы.

– Остановись! – крикнул еще раз Андрей Иванович и, опередив Балакирева, схватил за плащ остановленного его приказом.

– Тебя и надо! – весело сказал Ушаков, поворачив как перо человека в плаще к себе лицом. Это был Лакоста, очевидно направлявшийся на Васильевский остров. – Пойдем покуда с нами, назад! – сказал генерал растерявшемуся шуту совершенно дружески. – На пару слов...

Глазами показал Андрей Иванович Балакиреву, чтобы он пошел сзади, а сам, взяв за руку Лакосту, двинулся с ним в паре рядом. Войдя на дворцовый двор, генерал привел шута в караульную и велел берейтору отвести Лакосту в свой дом, не позволяя ему ни с кем говорить по дороге.

Отдав этот приказ и посмотрев вслед Лакосте, удалявшемуся с ефрейтором, Андрей Иванович направился с Балакиревым во дворец, на половину ее величества.

V. На следу

Авдотья Ильинична Клементьева, в полном придворном трауре, подъехала к дому князя Никиты Волконского и, выйдя из саней, поднялась на крылечко.

Каменный дом Волконских построен был на Неву, между 9-й и 10-й линиями Васильевского острова, общею складчиною отца и матери княгини Аграфены Петровны, в подспорье не особенно значительному зятину достатку. Строить же велено было князю Никите, когда, злобствуя на Петра Михайловича Бестужева, светлейший князь велел внести зятя по первой статье. Официальная справка о поместных дворах 7188 лета показывала 1002 двора (вместо 602-х), а после 1716 года за отцом князя Никиты Волконского и пятидесяти дворов не было, потому что в пожары 1708 и 1715 годов сгорело 14 его усадеб, причем уничтожено больше семисот крестьянских дворов. Стало быть, в наличности всего ничего. Против справки, однако же, не сговоришь; под ответ можно попасть и под опалу, пока выяснится неправильность дьячьей выписки. Да и князь Никита был не из горластых, а о деловитости и говорить нечего. Вечный собутыльник генерал-адмирала, он ему, разумеется, пожаловался на безвременье, да тем все и кончилось. Граф Федор Матвеевич Апраксин не только словесно выразил соболезнование, но и съездил к светлейшему представить подлинное положение состояний Волконского. Меншиков якобы и впрямь расчувствовался, обещал поправить дело и побранить дьяка Щукина за неподходящую справку. Да на обещанье и отъехал себе.

Дело ни на йоту не изменилось, и требования – строить – следовали одни за другими, все настоятельнее. Отписал князь Никита к тестю с слезным молением о помощи, тот и приказал приказчику своему запрячь кирпичу, навозить камней (на фундамент) и нанять рабочих на его счет со всеми проторями. Так зятю тесть и вывел каменный домик на славу.

Ясно, что дело князя Никиты, человека незаменимого за бутылкою, при графе Федоре Матвеевиче устроилось и относительно дома, как и во всех других случаях, только благодаря тому, что супруга его, Аграфена Петровна, дочь умных родителей, и сама была умница из умниц. Отец ее, Бестужев, изобрел себе в отличку еще особое, якобы иностранное прозвание – Рюмина, желая при дворе казаться европейцем. Мать, русачка, у такого сожителя была безгласное орудие высокомерных планов, хотя не лишена была ни природной сметливости, ни дальновидности. И дети – дочь и два сына – умниками выросли в отца, а осторожностью в мать. Аграфена Петровна особенно была, в отца и брата Алешеньку, сладкоглаголива и вкрадчива. Она к кому угодно в душу влезет, дайте только доступ – речь завести.

Силу этой добродетели испытала на себе в этот вечер сама хитрячка не последняя и сладкоговорка не из заурядных – Авдотья Ильинична Клементьева. За язычок свой да за размазыванье и расписыванье живыми красками якобы дела важного – пустяков Авдотья Ильинична и в баронши попала из коровниц; стало быть, по части сладких разговоров баба-дока. Да и та в присутствии Аграфены Петровны оказывалась ученицей пред профессором.

Аграфена Петровна умела понять, что каждому приятно, и в прием этого лица, до разговора еще, распоряжалась так, что уже с первого шага в ее доме принимаемая особа чувствовала себя чуть не на седьмом небе. Вот хоть бы и прием Авдотьи Ильиничны, помешанной на честолюбии, оказывался образцом дипломатической сообразительности княгини Волконской.

У русских бар долго велся азиатский обычай не вдруг допускать до себя гостей неожиданных или не приглашенных. Такие гости, хотя бы и равные рангом, подъезжая к дому, засылали слуг, чтобы узнать: дома ли, примут ли, да как еще примут? Трактация об этом растягивалась самое меньшее на полчаса. У княгини Аграфены Петровны наказы прислуге давались раз навсегда, и прислуга не сбивалась ни в чем. Зная слабость самопревозношения Авдотьи Ильиничны, для нее был церемониал у княгини Волконской самый блистательный. Главные двери на парадную лестницу – настежь, и вести двум лакеям бережно, под руки, чтоб не споткнулась.

Третий, дежуривший у входа, казачок, завидя остановившиеся сани и позвонив вводителям – принимать, полетел к боярыне. И она сама уже вышла в светлицу встречать Ильиничну, пока с нее снимали шубейку.

Вышла, приняла в объятия, ввела к себе, расцеловала и посадила против себя. Неприметно мигнула – и поднос несут с наливками да с заедками (dessert). Как тут не растаять Ильиничне и не почувствовать себя столбовою боярынею?

– Свет ты наш, княгиня Аграфена Петровна, – начала приведенная в восторг гостя, – что так давно не изволила жаловать к нам, сиротинам? Легко ль, шестой день никак севодни! Уж так-то я встосковалась, что и сказать нельзя. Переждала утро, вижу – нет как нет, к вечеру и поплелась. Первое дело, сон видела, кажись так себе, не дурной, может, да очень занятный. Вот уж расскажу... Ваша милость, слышали мы, мастерица сны толковать. А другое дело – и новенькое есть кое-что... вам, княгиня моя милостивая, надо ведать про то...

– Ну, начинай же... хоша со сна, хоша про новости, – вымолвила княгиня будто безучастно. А в самом деле сгорая нетерпением от предположения, верного в основе, что прибыла Ильинична никак не даром.

– У нашей матушки севодни уявилось посольство одно, да довольно загадочное.

Тут она рассказала эпизод Бирона и его речи, бывшие надвое, будто бы без цели.

– Бирона как не знать, – выслушав донесение Ильиничны, высказала княгиня Аграфена Петровна. – И что ему не по нутру должны показаться делаемые предложения царевне, тоже в порядке вещей. Он ведь женат, для прикрытия. Самое лучшее, если бы всемилостивейшая государыня отписала племяннице: я тебе устроить свое счастье с Морицем Саксонским не думаю препятствовать. Это было бы самое разумное и вполне справедливое решение, желательность которого самой царевной очевидна. А что Бирон высказывает свои взгляды несогласные, – в его сторону нечего заглядывать. Да и здесь его незачем приглубливать. Как в Митаве всех он ссорит, так и здесь постарается. Иначе ему нечего и делать.

– Я тоже, матушка княгиня, сама смекала, что так следует нашей поступить. Сумею внушить, как и что. Да и ты, княгиня дорогая, не оставь своим посещением нашу половину.

На этом кончились речи о политике. Начались усердные возлияния со стороны Ильиничны и ублаживанья княгинею-хозяйкою, скоро доведшие гостью до крепкого сна. Уложив ее, княгиня принялась писать об узнанном отцу, и к утру уже уехал посланный с письмом.

Ильинична действует у княгини Волконской, а в комнатах ее величества идет трагикомедия.

Андрей Иванович Ушаков, явившись по призыву, прежде всего бросился на колена пред государынею и прикинулся совсем погибающим человеком. Он с трепетом чуть выговаривал от волнения, представляя необходимость для него высочайшей поддержки.

– За Лакостою, мать наша, стоит целая толпа ваших врагов. Прежде чем приказать его пристрастить, осмелюсь просить: дайте указец взять кое-кого, других прочих, на первый случай... Пригласите цесаревну Елизавету Петровну и повелите контрасигнировать приказ, вашим величеством мне отданный...

– Да разве нельзя без этого, Андрей Иваныч? Я тебе, батюшка, верю во всем и полагаюсь на тебя.

– Да, те-то, другие прочие, кому невыгодны будут мои у них хозяйничанья, словесному моему заявлению вашей воли воспротивятся. А приказ совсем иное: читай и повинуйся!

Императрица вздохнула. Она не любила крайностей и слова «арест» с минувшей осени не могла слышать без содрогания.

Видя на лице ее величества колебание и холодность, Ушаков повторил просьбу о приглашении Елизаветы Петровны.

– Да зачем это? Кто такие могут быть ослушники?

– Первый – Павел Иванович! – брякнул, совсем неожиданно для ее величества, Ушаков.

– Да разве его ты думаешь брать? – вымолвила монархиня, бледнея.

– Нельзя иначе, ваше величество. Он-то и есть корень зла! Могу поклясться вашему величеству, он главный предатель... С ним вместе Чернышева, старого шута, с сожительницей прихватим да душегубца старинного же... Толстого.

– Нет, нет, нет!! – вскрикнула в ужасе государыня и замахала руками. – Помилуй, Андрей Иванович... все ведь возопиют на меня, скажут, если эти враги, кто же друзья?

– Как угодно вашему величеству... их не брать – напрасно и Лакосту допрашивать. Он шпионит для них. А что они хотели бы смастерить – откроется разом, как только разрешите захватить да поспросить наедине, поодиночке. Авдотья Ивановна с перепугу не такое еще признание учинит, как Балкша... тогда...

Ужас Екатерины I достиг высшей степени при этом напоминании.

Государыня закрыла глаза руками и чуть слышно произнесла:

– А если не они? Тогда что?

– Тогда я готов положить голову свою на плаху! – не задумался ответить с достоинством Ушаков, чувствуя, что из-под рук у него ускользает интересное дело.

– Если ты так уверяешь... пожалуй, согласна, – скрепясь и помалу приходя в себя, тихо и медленно проговорила государыня, прибавив: – Только ты их не очень притесняй... чтобы не плакались на меня...

– Я даю слово, государыня, бережно с ними обращаться, но не допросить нельзя и не пристрастить, чтобы правду выболтали, – без того не обойдется.

Государыня снова погрузилась в думу, и ее величеством вновь овладела нерешимость. Добрая императрица представила себе, как на этих высокопоставленных особ должно подействовать самое взятие их в допрос.

На счастье Ушакова, случайно вошла сама цесаревна Елизавета Петровна, беззаботная, как птичка, с улыбкою на устах. Ее высочество с горячим родственным приветом обратилась к государыне-матушке и села затем подле стола.

– Ты, душа моя, верно отгадываешь, когда есть в тебе надобность... сбиралась было послать за тобой, а ты и тут, – молвила ласково государыня.

– А что вам, мамаша, требуется?

– Ее величеству угодно, – заговорил Ушаков, – чтобы ваше высочество изволили подписать два указа. – И он положил на стол свои бумаги.

– Да, мамаша, подписать? – переспросила цесаревна, взявшись за перо.

– Д-да, конечно... – ответила рассеянно монархиня, снова погружаясь в свою думу.

Помолчав с минуту, государыня про себя произнесла:

– Но надо подумать, видишь...

Ушаков в это время уже брал подписанные бумаги.

– Так что же прикажете: не давать Андрею Ивановичу или... уничтожить?.. – в свою очередь, спросила цесаревна.

– Ваше величество! – с жаром возразил Ушаков. – Уничтожить теперь указ – значит отдаться самим в руки ваших врагов. Я ваш усерднейший раб, готов пролить последнюю каплю крови моей, защищая интересы вашего величества, но все усилия мои будут бесплодны, если слово вашего величества остановит теперь дознание. Всякое промедление в настоящем случае увеличивает опасность, усиливая дерзость крамолы.

– Полно, полно, Андрей Иванович, не пугай меня... Я, пожалуй, согласна, чтобы ты разузнал как говоришь, все только меньше шума и угроз, – спокойно произнесла государыня.

Ушаков поклонился и поспешил удалиться. Он уже мысленно рассчитывал шансы своей полной победы, взяв с гауптвахты половину караула и подведя его по набережной к дому Чернышева. Темнота в окнах, однако, возбудила в разыскивателе подозрение.

– Никак улизнули, окаянные! – не выдержал Ушаков, рассмотрев закрытые изнутри ставни.

Войдя с командой на двор, Ушаков подошел на свет к одноэтажному жилью и стал стучать в окно.

– Кто там? – раздался голос из запертых сеней.

– Которое крыльцо к его превосходительству? – спросил он, совсем изменив голос на какой-то рабский.

– Да на что тебе? Боярин с боярыней в Москву поднялись, ащо позавчера, с утра... дома-ста нетути ни души...

– А ты кто?

– Мы-ста дворники...

– А люди еще где?

– Всех забрали с собой, бають, в обоз...

– Надолго, стало быть, уехали?

– Не знаем-ста, нам не докладывались.

Ясно – нечего и продолжать расспрос.

Ушаков и тут не потерялся. Он мгновенно сообразил, что со двора Чернышева есть калитка на двор Ягужинского, и пустился с отрядом своим искать эту калитку. Нашел и понажал щеколду. Низкая дверь подалась без шума, и открылся вход на соседний двор. Окно рабочей комнаты хозяина было завешено ковром, но сбоку ковер не доходил донизу, и узенькая полоса яркого света проходила наискось по двору.

– Слава богу, здесь обретаться изволят! – весело выговорил про себя Андрей Иванович.

Взглядом генерал дал понять одному ефрейтору, где расставить людей у каждого из выходов. Другого ефрейтора с тремя гренадерами Андрей Иванович взял с собою, найдя без труда впотьмах входную дверь в переднюю и отворив ее без звука.

Здесь было пусто, но по ковру, в соседней комнате, расхаживал хозяин. Махнув ефрейтору (став на полосе света, в проеме двери, между петлями) ввести солдат, Андрей Иванович поднял ковер и вырос перед Ягужинским.

– Как поживать изволите, Павел Иванович? – с злорадством приветствовал Ушаков.

Ягужинский поворотился и невольно попятился, увидев за разысквателем еще ефрейтора.

– Добро пожаловать, Андрей Иваныч, – робко молвил хитрец... – С чем тебя поздравить прикажешь? – попробовал он задать вопрос каким-то не своим голосом, стараясь придать звукам исчезнувшую мгновенно твердость.

– Прежде всего с тем, голубчик, что вижу тебя на ногах и могу предложить недалнюю прогулку.

– Да я никуда не выхожу. Вот новость! Что за шутки с больным? Видишь, показаться не могу в люди! – И Павел Иванович показал рукою на свежий шрам, перерезывавший щеку.

– Очень жаль... Впрочем, можно будет тебя и дома оставить, дав в кумпанью вот этого молодца. – Он указал на ефрейтора. – Скажи только, где твоя шпага?

– Да ты, Андрей, как я вижу, принимаешься шутки неладные шутить? Какой черт позволил тебе проделывать со мной издевки?! Забыл разве, что я генерал-адъютант и сам могу таких, как ты, генерал-майоров, отправлять под арест!

– Когда на то есть высочайшая воля... почему не так! Но, во-первых, я уже не просто генерал-майор, а генерал-адъютант, как и ты... во-вторых, выполняю августейшую волю и все-милостивейше возложенное на меня поручение взять генерал-адъютанта Павла Иванова сына Ягужинского и прочих. Читай сам указ и повинуйся.

Ушаков проворно развернул одну из бумаг, которые держал в руках, а затем подал другую и, разложив на столе, указал Ягужинскому на слова в строках.

Лицо Павла Ивановича внезапно получило мертвенный колер. Ноги подкосились, и он не сел, а опустился на кресло у стола, когда глаза упали прямо на слова, указанные перстом Ушакова.

– За что такая беда надо мной? – произнес потерявшийся Ягужинский шепотом отчаяния.

– Тебе ли об этом спрашивать меня после доноса, погубившего Монса! – отрезал язвительно Ушаков.

– Да я, как член суда, не один подписывал приговор Монсу и другие тоже.

– Сила не в приговоре, а в доносе.

– Я тут ни при чем!

– Так ли, полно!

– Совершенно так. Могу образ снять со стены.

– Полно, руки отсохнут. Говорят, Бог не допускает до явного посмеяния святыни.

– Какое же тут посмеяние, когда человек не имеет ничего от навета защититься, как икону взять.

– И начать с иконой лгать?! Ну, это, скажу я тебе, плохая защита перед тем, кому хорошо все подлинно известно, как мне, например.

– Андрей Иваныч, мой милый друг, неужели же имеешь ты на меня, несчастного, такое подозрение?

– Тут уж не подозрение, а прямое свидетельство людей, которых призывал к себе за этим генерал-прокурор, ныне гофмаршал.

– Да как они смели? Да разве можно оставить без наказания клевету?

– Клевету нельзя оставить ни на минуту без доказательства, и доказательства имеются налицо, да такого рода, что не может возникнуть ни малейшего сомнения в точности их. Не думай увертываться, не поможет. А ты лучше садись и пиши подлинное признание.

Как ни был не в себе Павел Иванович, но при последних словах подошел к Ушакову и сказал ему на ухо, указывая глазами на ефрейтора:

– Как ты неосторожен... Можно ли такие слова говорить при ком-нибудь?

Андрей Иванович улыбнулся самую коварную улыбкою, одновременно и поощрительною и бросающею в холод, и, также на ухо, прошептал Ягужинскому:

– Пиши только. Я его отошлю в переднюю, а то на крыльцо. А не захочешь ты сам писать, примусь я. И буду тебе нарочно громче задавать вопросы, чтобы и солдаты слышали. Да и ответы буду прочитывать громко.

При такой угрозе Павел Иванович вздрогнул и шепотом сказал:

– Хорошо, писать я буду, где допросные пункты?

– Если ты требуешь, чтоб я предложил тебе вопросы, твоё признание не в признание. Я, по дружбе, не хотел быть следователем вины твоей, а только посредником в испрошении пощады, подавая признание кающегося. При этом только могу и уверить в раскаянии твоём и будущей неизменной преданности.

Воцарилось молчание. Ушаков взглядом велел ефрейтору уйти и затворить дверь, так что грозный гость остался вдвоем с хозяином. Ягужинский быстро забегал взад и вперед по комнате. Он чувствовал себя уничтоженным, и гибкая мысль его была окончательно сбита с толку немногими решительными словами разыскивателя. Дав своей жертве время совсем потерять энергию, Ушаков наконец повелительным взглядом показал Ягужинскому на стол и бумагу. Павел Иванович машинально сел и, еще раз вычитав в глазах Андрея Ивановича выражение непреклонного требования, схватил торопливо перо и принялся строчить.

Вместо хозяина стал прохаживаться гость. Долго писал Ягужинский, то останавливаясь и прочитывая написанное, то переправляя и опять принимаясь за дело. Рука его стала ходить медленнее, и за прежним смятением наступил страх, что Ушаков знает более и представит что-

либо еще, чего оправдать его ум никак не может. Под впечатлением этой неотвязной мысли Павел Иванович заключил собственноручно писанные признания. Ушаков подошел к столу и стоя впился глазами в бумагу. На лице его не было ни кровинки, одни глаза горели и метали искры. Дочитав до конца, Андрей Иванович указал пальцем, где должна быть выведена подпись, и ею украсился оригинальный документ.

Но, выведя подпись, Павел Иванович устремил на Ушакова умоляющий взгляд и тихонько, словно про себя, промолвил:

– Лучше бы поправить... поглаже выразить... Как ты думаешь? Скажи, бога ради, как друг, искренно, если, как говоришь, пришел ты не предавать меня и хочешь поступить по-приятельски...

– Пиши другое, посмотрим... – А сам взял написанное и опустил в карман.

При этом маневре сыщика Ягужинский потерялся окончательно, и перо выпало из рук.

– Не бойся, пиши... – подбодрил струсившего совсем Ягужинского Ушаков. – Посмотрим, говорю, что выйдет лучше и для тебя выгоднее, то я и подам. На меня, я уже сказал раз, можешь положиться вполне.

– Н-ну... а как ты думаешь: в объяснение-то мое можно... вставить, ну, знаешь кого... и указать... то есть что я только... а они... понимаешь?

– Пиши все что хочешь, никого не жалея, если думаешь, что так будет выгоднее... А обо мне выбрось из головы, якобы я тебе был враг. Знаем мы все, да не возбуждали же дела без приказания: разыскать и разузнать впрямь...

Струсивший Ягужинский принял все за чистую монету. Утопающий хватается и за соломинку, потому Павел Иванович больше чем с охотой ухватился за позволение. Ушакова писать все не стесняясь. Мало того, дописав второе признание, в котором сильно запутывались Чернышевы, и, передав писанье Ушакову, Ягужинский надумал, что все же мало себя выгородил, и попросил позволения еще написать. И третье написал.

Третье признание было, скорее, оправданием во взведенной на невинного Павла Ивановича клевете: якобы он принимал участие в кознях против императрицы. Он, напротив, будто бы слышал о кознях Чернышевых, Толстого и Матвеевых, а сам только старался их самих обратить на путь истины, чести и совести. Виновным себя находил Павел Иванович разве в том, что не рассказал о замыслах тех господ. Но если он и не сделал этого, то потому только, что не придавал значения их затеям и бредням. Прочитав все три признания, не только Ушаков, но и человек совсем неопытный должен был прийти к заключению, что Павлу Ивановичу ни в чем не следует верить.

– Ну, как ты находишь мое признание? – спросил автор сыщика, взявшего все три экземпляра и уже уходящего.

– Ты сам знаешь, что хорошо, – отшутился Ушаков, прибавив внушительно: – Смотри же, никого не принимай и сам не выходи, а люди мои могут в передней быть... до указа.

Распростившись прелюбезным образом с одним, Ушаков поспешил домой и, придя к запертому Лакосте, отдал ему следующий приказ:

– Смотри, я не бью тебя, как велено, потому что знаю, что ты, как умный человек, из боязни за свою шкуру предпочтешь верно мне служить и выполнять строго что накажу!

– Путу... путу, – шептал струсивший шут.

– Ступай же к Петру Андреичу теперь. Ведь ты шел к нему, когда я схватил тебя?

Лакоста кивнул утвердительно головою.

– Молчок, что я знаю о ваших тайнах. И продолжай свое дело как ни в чем не бывало, но не уходи до моего прихода. А если ты изменишь, что видно будет уже с первого взгляда, – запорю... Смотри же... Мы за тобой следом, или лучше будет, если с тобою же мы и проедем до сеней Толстого... ты укажешь, куда и как пройти.

Лакоста ответил утвердительно.

Ушаков оделся и вышел с ним вместе; команда не дожидалась и уже двинулась от дворца.

Генерал на этот раз посадил Лакосту с собою в сани, и они быстро покатали сперва по набережной, потом по Неве, к 12-й линии.

Все сделалось буквально так, как рассчитал Ушаков. Когда он и Лакоста прибыли к дому графа, команда находилась уже там. Шут повел всех через чужой пустой двор сзади. во двор графский, к лесенке, ведущей на вышку, что итальянцы прозывают бельведером. Там жил старый граф.

Все было пусто, так что, пропустив вперед себя в светлицу шута, по коврам, неслышно, в переднюю в потемках прошли и солдаты. Прошли беззвучно и притаились.

Лакоста как ни в чем не бывало начал пересказывать свою затруднительность шпионить теперь, когда произошла распря из-за него между государыниными женщинами.

Старый дипломат начал преподавать ему практические советы, как поправить сколько-нибудь дело для продолжения наблюдений, но речь его вдруг перервалась на полуслове, когда он слышал странный шорох.

– Кто там? – крикнул граф Петр Андреевич.

– Я, ваше сиятельство! – И из-под занавески ворвался стремительно Ушаков.

– Это что значит? – не столько с испугом, сколько со злостью спросил хозяин.

– Имею честь предъявить вам высочайший указ.

И перед старцем Андрей Иванович проделал опять свой фокус с полным успехом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.